



Александр Проханов

Красно-коричневый

«ИТРК»

Проханов А. А.

Красно-коричневый / А. А. Проханов — «ИТРК»,

Эта книга – о народном восстании 93-го года. О баррикадах в центре Москвы, по которым стреляют танки. О рабочих, священниках и военных, отдающих жизни за русские святыни. О палачах, терзающих пленных, вырезающих у них на спине красные звезды. Здесь – рассказ о патриотических лидерах и их партиях, которые бурлящим потоком вливаются в русское сопротивление. Здесь – митинги и демонстрации патриотов, сатанинские камлания и «черные мессы» служителей таинственных антирусских культов. Главный герой, полковник спецназа, израненный и измученный, приносит священную жертву и этой кровавой жертвой одолевает мучителей, празднует, пусть на небесах, а не на пепелище Дома Советов, мистическую русскую победу. Этот роман как учебник новейшей русской истории. Как евангелие русского патриотизма. Как боевое наставление всем, кто пошел в поход за свободу и независимость Родины. Герои романа – люди, Москва, духи Добра и Зла, бессмертная сияющая Россия.

© Проханов А. А.

© ИТРК

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	22
Глава четвертая	35
Глава пятая	44
Глава шестая	54
Глава седьмая	64
Глава восьмая	69
Глава девятая	76
Глава десятая	85
Глава одиннадцатая	94
Глава двенадцатая	104
Глава тринадцатая	112
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Александр Проханов

Красно-коричневый

*«Душе моя, душе моя, восстани! Что спиши? Конiec
приближается!»...*
Андрей Критский, VII век.

Часть первая

Глава первая

Хлопьянов долгим медленным взором оглядывал Пушкинскую площадь, и она, в весенних фиолетовых сумерках, обрызганная фонарями, в длинных блестках пролетающих автомобилей, казалась накрытой прозрачным колпаком. Люди, фасады, фонари казались помещенными в стеклянный аквариум, путались в водорослях, бесшумно ударялись, как рыбы, о прозрачные преграды.

На краю тротуара, у проезжей части, топтались проститутки, в коротких юбках, в химически-ярких блузках. Их лица в неоновой помаде, в ярком гриме разом обращались к подлетающему лимузину, из которого выглядывал веселый смуглый кавказец или бритоголовый московский детина. Подманивали их, осматривали от кончиков легких серебряных туфелек до высоких, с завитками и локонами, причесок. Одна или две впрыгивали в машину, и их уносило в сумерки, а остальные продолжали толпиться под фонарями, как ночные бабочки, в полупрозрачных блузках, разноцветных пластмассовых поясах, пританцовывали, жадно, зорко поглядывая на пролетающие автомобили.

Хлопьянов смотрел на них, как на диво, Бог весть откуда возникшее, излетевшее из темных дворов, неосвещенных подворотен, родившееся из загадочных червячков и личинок. Москва, знакомая каждым изгибом улиц, каждым поворотом переулков, родными с детства образами домов и фасадов, теперь казалась чужой, ненастоящей. Напоминала ярко размалеванную деревянную маску, источенную жучками, и из множества пробуравленных скважин вылезали и вылетали разноцветные существа, нарядные, шустрые, ядовитые. Он рассматривал их с интересом и тайным страхом. Исследовал их пристально, как в музее, стараясь понять их природу.

Медленно, в целях исследования, он спустился в подземный переход, где бежала, кипела толпа. Лица вспыхивали и гасли, как перегоравшие лампочки. Вдоль кафельной стены неровной чередой стояли пожилые торговцы. Протягивали банки с консервами, бутылки пива, сухую воблу, пакеты с кашей. Зазывали, умоляли купить, ловили взгляды, жалко улыбались. В их подслеповатых запавших глазах была вина, жалоба, собачье непонимание. Они не могли объяснить ни себе, ни людям, почему так случилось, что они вынуждены в этот поздний час покинуть свои стариковские жилища, оказаться на опасных, неуютных улицах и столь нелепо, непривычно добывать хлеб насущный. Хлопьянов всматривался в их ветхие неопрятные одежды, грязные кошелки, в убогий заскорузлый товар. Ему казалось, он видит среди них свою старую мать, школьного учителя, известного в свое время писателя. Москва сжала свои каменные клещи, выдавила их, как косточки из фрукта, выбросила из квартир на улицы, выставила под люминесцентными лампами у заплыванных кафельных стен.

Он продолжал исследовать площадь, наблюдая теперь за нищими, как зоолог. Отмечал места их расселения, способы кормления, повадки и инстинкты. Нищие заселили площадь рав-

номерно, разместились умно и расчетливо в людских потоках, обрабатывая эти потоки особым способом, добывая из них необильную, постоянно поступающую добычу. Одни из них привлекали внимание обрубками рук и ног, в струпьях, болячках. Выставили напоказ красные натертые клешни, деревянные протезы. Ловко и весело подхватывали падающие купюры. Другие повесили себе на грудь, разложили у нищенских шапок дешевые иконки, плакатики с безграмотно накарябанной просьбой. Привлекали прохожих идиотическим выражением лица, слюнявыми пузырями на губах. Нищенки, закутанные в лохмотья, выкладывали напоказ грудных детей. Младенцы спали, словно их усыпили сонным зельем, лежали в комочках тряпья прямо на асфальте. Матери тянули к толпе фиолетовые грязные ладони, показывали худосочные груди с черными скрюченными сосками. Несколько нищих, завершив дневной сбор, сошлись на скамейке под фонарем, навалили грудой клеенчатые сумки, пили водку, делили добычу и ссорились.

Отдельно паслись на площади бомжи. Дождавшись сумерек, покидали свои дневные убежища, пугливо нежались в свете ртутных фонарей. Косматые, небритые, похожие на маленьких леших, в рубищах, в плесени помоек, в зеленоватом болотном иле сырых подвалов, они поражали Хлопьянова красными трахомными глазами, хриплым кашлем, простуженным ядовитым дыханием. Опирались на заостренные палки, которыми защищались от бездомных собак, рылись в мусорных урнах, а во время жестоких внезапных ссор убивали друг друга, оставляя на газонах, в подъездах, в ночных переулках безымянные безвестные трупы.

И вновь, совершив несколько кругов на поверхности, он опускался в подземный переход, в булькающий кипятик толпы. У телефонов-автоматов люди перекрикивали друг друга, сипели, надрывались, проклинали, обманывали, и все эти страсти погружались в пластмассовые трубки и железные ящики и скапливались там, как в мусорных урнах, откуда их увезет на свалку мусоровоз.

Тут же увивались наркоманы, – прыщавые нервные девицы с пожелтелыми от курева зубами, испитые юноши с бритыми раздавленными черепами в неопрятных ржавых одеждах. Одни пританцовывали и посмеивались в такт слышной им одним галлюциногенной музыки. Другие обморочно прислонились к стене, закатив лунные пустые глаза. Третьи, сцепившись, слюнявили друг друга воспаленными слизистыми оболочками. И вдруг все вместе, очнувшись, начинали истерически хохотать над каким-то фантастическим потешным видением, быть может, нищим с отрубленной красной култей.

Все это Хлопьянов видел впервые. Страдание, которое он при этом испытывал, было меньше, чем изумление. Эти существа появились там, где прежде обитали его сверстники, соседи, знакомые, привычные жители города. Теперь же эти пришельцы вытеснили его из привычной среды, отняли жизненное пространство, господствовали там, где раньше было ему хорошо и уютно. Отвратительные пришельцы закрепили за собой территорию, метили ее зловонными струйками.

Он снова кружил по площади, в поисках старинных следов. Все прежние, знакомые с детства очертания, фасады, вывески, фонари отступили в тень, скрылись под ворохом временных, дешевых, дразняще-ярких и навязчивых знаков – реклам, мигающих витрин, муниципальных стоянок, подсвеченных арок. Образ площади изменился. Ее остывшее неживое лицо было покрыто белилами и румянами.

Торговые лавочки, одинаковые, как соты, прилепились у газонов. Они были похожи на маленькие нарядные часовни, освещенные изнутри, с киотами из наклеек и упаковок, с цветными лампадами заморских ликеров и вин. Из часовен выглядывали тихие лица торговцев, служителей новой религии, исповедников нового символа веры. Киоски были аккуратно отштампованы из нержавеющей стали, титана и алюминия, которые прежде шли на создание космических кораблей, самолетов, реакторов. Теперь же они служили оболочкой новым божкам и жрецам, на исповедь к которым являлись рэкетеры, фальшивомонетчики и торговцы

наркотиками. И кто знает, какие обряды совершались ночами в этих молельнях, какие дары вносили и выносили в упаковках крепкие стражи, чем бугрились и оттопыривались пиджаки немногословной паствы.

Тут же у лавок на тротуарах сновали мальчишки-беспризорники, чумазые, словно вылезли из дымохода. Осаждали проезжие автомобили, предлагали заказ «Макдоналдс», лезли под колеса, плескали в стекла какую-то моющую дрянь, показывали языки. Насшибав деньгу, тут же на парапете пили пиво, курили, тузили друг друга. И снова кидались к автомобилям, нагло колотили в стекла, пугая проезжих дам.

Хлопьянов, утомленный ядовитой пестротой и шумом, покидал ненадолго освещенную площадь. Углублялся в окрестные кварталы, известные своими милыми переулками, особняками, двориками, престижными, сталинских времен домами. Теперь из дворов веяло зловоньем неубранных помоек, смрадными сквозняками из распахнутых настежь подъездов. В мусорных баках во тьме рылись согбенные, замотанные в лохмотья существа, гремели стеклом, звякали жестью. В укромных уголках притаились машины с погашенными огнями, и в них, чуть подсвеченные сигаретами, переговаривались таинственные люди. Где-то в подворотнях раздавался истошный крик, начинала верещать, свистеть угоняемая машина, звучал хлопок, похожий на выстрел. И на черных вонючих лужах сквозь прогал кроваво отражалась высокая реклама «Кока-Кола».

Хлопьянов, полковник военной разведки, месяц как вернулся в Москву, свободный, необремененный, уволенный вчистую из армии, после изнурительных и опасных лет, проведенных им в Карабахе, Приднестровье, Абхазии, где он служил на обломках державы, безуспешно пытаясь ее спасти. Поселился в своей обветшалой квартирке на Пушкинской, без дела, с обилием свободного времени. Использовал его для прогулок, случайного чтения, размышлений. Исследовал случившиеся с Москвой перемены и чувствовал себя путешественником, заехавшим в неведомый город.

Его детство и юность прошли на Пушкинской, и она представлялась ему душой Москвы, самым милым, светлым, духовным местом, – вторым центром. Первым была Красная площадь, грозный державный Кремль, царственные соборы, гранитная усыпальница Ленина, где, соединенная с курантами, вращалась, позванивала золоченая ось, на которой держалась страна. Но Пушкинская, дивный Тверской бульвар, чугунная ограда, древний ветвистый дуб, деревянные скамейки, где заботливые бабушки выгуливали очередное поколение внуков, новогодняя елка с хлопушками, чистая, продуваемая свежим ветром улица Горького, старомодные часы на фонарном столбе, – все это было душой Москвы. И конечно же, ее смыслом, главным ее наполнением был памятник Пушкину. Граненые, окруженные лиловой дымкой фонари, бронзовые стертые цепи, склоненная в завитках голова, черная шляпа в руке. И если зима, то ком белого снега на голове и на шляпе, а если лето, то неизменный букет у подножья.

Пушкинская площадь была для Хлопьянова самым родным и желанным местом. Теперь же, в эти весенние сумерки, выглядела воспаленно и страшно, как больная, в сукрови, в дурном поту, в расчесанной экземе. Здесь, на тротуарах и скверах было видно, какая зараза завелась в Москве, какая болезнь изъедает город.

Хлопьянов, последний десяток лет прожив на окраинах государства, ныне исчезнувшего и разгромленного, являясь в Москву в командировки и в отпуск, стремился на площадь. И уже давно, продолжая радоваться памятнику, фонарям и бульварам, замечал зорким взглядом признаки неведомой, занесенной в город инфекции. Крохотные вирусы и амёбы, неразличимые глазом, поселились на чудесной площади. И она, не ведая, была уже больна, испытывала первый несильный жар, головокружение, покрывалась нездоровым румянцем.

Расхаживая по скверу вдоль овального гранитного фонтана, у газонов с зацветающими тюльпанами, он следил за горстками вольнодумцев. Сходились, шушукались, спорили о дисси-

дентах, о кремлевских властителях, пересказывали едкие газетные статейки. Испуганно озирались, подозревая в каждом соглядата и агента. Эти комочки и катышки вольнодумства множились, слипались. Появлялись мегафоны и трехцветные флаги. Завибрировали, зарокотали мембранные голоса. Толпа с улицы Горького заворачивала на сквер, облучалась больной энергией мегафонов, уносила с собой тончайшие токсины.

В другой свой приезд он видел, как подобно бреду, на сквере клубился митинг никому неизвестной революционерки. Неистовые, все с признаками физического уродства, истошно орали, бесновато хрипели, топтали газоны. Их разгоняла милиция, грубо и ненавидяще, а саму революционерку, толстую, с седыми волосами, в бесстыдно задранной юбке, вносили ногами вперед в милицейский автобус. Все быстро исчезло, будто фантомы унеслись на луну. Помятые газоны, на траве огромных размеров лифчик. Но через день, как приступ лихорадки, все повторялось – революционные агитаторы, грассирующие, с пеной у рта, остервенелая милиция, толстые ноги революционерки в синюшных венах, в складках желтого жира.

Очередной его приезд совпал с демонстрацией демократических масс. Улицу Горького перегородили войска, – зеленые каски, поблескивающие, как консервные банки, щиты. Клокотала толпа, словно ее полили кислотой. Мимо Пушкина, граненых фонарей разъезжал микроавтобус, и мембранный голос знаменитого попа-вольнодумца, отделенный от его черной сутаны, католической бородки, волосатых рожек и козлиных копыт, витал над площадью, как дух преисподней. И Хлопьянову казалось, что с площади сдирают покровы, оскверняют, насилюют.

Потом он попал на площадь зимой, в метельную ночь, когда горело угловое здание Театрального общества. Красное зарево распускалось в синеве, как чудовищная пышная роза. Рушились балки, прыгали сверху охваченные пламенем люди, падали из дыма и снега обгорелые вороны. Этот пожар в центре Москвы напоминал конец света. Над площадью жутко, сквозь копоть и пургу пылало рекламное табло «Кока-Колы», и на нем отчетливо проступали цифры 666.

Оранжевые, словно пятна йода, кришнаиты сменялись пятнистыми, как саламандры, «афганцами». Армянские беженцы смешивались с крымскими татарами. Площадь казалась омутом, в котором кружились обрывки водорослей, сорванных бурей и потопом. А между тем тут же разворачивалась аккуратная компактная стройка. Возводились металлические конструкции, сгружались хрустальные стекла, мелькали нарядные, как конфетти, пластмассовые каски строителей.

И вдруг среди старомодных зданий, благородных обветшалых фасадов, гранитных парапетов и чугунных решеток возник ослепительный кристалл, многогранный стеклянный аквариум, магическая призма, преломляющая свет, рассыпающая его на радужные пучки. Ресторан «Макдоналдс» растворил свои прозрачные бездонные недра зачарованным москвичам, и те, ослепленные неземной красотой прилавков, пряным ароматом заморских яств, потянулись бесконечными вереницами, повторяя изгибы тротуаров, опоясывая площадь, сливаясь в длинную, медлительную очередь, стремящуюся посетить новый мавзолей, поклониться новому божеству. Так островитяне забытого архипелага идут подивиться на приставший к дикому берегу неведомый корабль. Так приобщенные к новой религии спешат поклониться грозному и прекрасному идолу. Причаститься «гамбургерами» и «бигмаками» и, вкусив откровений, унести их в растревоженных сытых желудках.

Огромные массы околдованных москвичей, – академики, артисты, герои страны, – стекались на площадь, чтобы пройти сквозь стеклянный саркофаг и там принять посвящение. Приобщиться неземных тайн, озариться мистическим сиянием. Облученные, сменив генетический код, отказавшись от прежнего мировоззрения, они расходились с потусторонним выражением глаз.

И лишь позднее, когда поредели очереди и число мутантов достигло необходимой массы, химия распада вплотную коснулась города. «Макдоналдс» вдруг опустел, как стеклянный гроб, и из него вышли на свет проститутки, сутенеры, бомжи. Так выпадает на дно гнилого болота ил. Так выступает из пор больного слизи сгоревших в болезни клеток. Пушкинская площадь, самое возвышенное и одухотворенное место Москвы, стала городским дном.

Хлопьянов вернулся в Москву после долгих скитаний по войнам, азиатским и кавказским конфликтам, в которых кончалась судьба великого государства и армии. Он стоял теперь на Пушкинской площади и смотрел, как маленькая проститутка, наклоняясь, отставляя ножку назад, словно балерина, заглядывала в салон кофейного «мерседеса», и оттуда кто-то улыбался, манил, приглашал ее взмахом руки.

Прокатил, заслонив «мерседес», толстолобый высокий джип. Остановился рядом с Хлопьяновым. Оттуда вышел полный, восточного вида мужчина, в просторном плаще, в пышном шелковом галстуке. Хлопьянов почувствовал, как пахнуло из открытой дверцы вкусным табаком и запахом кожи. Человек оставил в машине блестящую связку ключей, рассеянно озирался, будто кого-то выискивал.

Хлопьянов отвлекся от созерцания площади. На мгновение «мерседес» и «джип» связались в его сознании воедино, но он тут же забыл о них, отвлеченный множеством мелких и ярких деталей, окружавших его, раздражавших и причинявших страдание. Он искал этого страдания. Выходил вечерами на площадь, чтобы мучить себя. Переживал унижения, казнил себя за бессилие и немощь. Он, отважный офицер, бесстрашный военный, позволил врагам овладеть городом, захватить любимую площадь. Эти враги приняли людское обличье, но на деле были маленькими чудовищами, загримированными под людей, были духами, и бороться с ними с помощью силы, употребляя оружие, было бессмысленно. Здесь требовались иные средства, иная сила, которой он не владел.

Маленькая проститутка отошла от «мерседеса», соединилась со стайкой подруг, и они, пританцовывая, шая, как школьницы, подманивали другие машины, заигрывали с пассажирами. «Мерседес» все так же стоял, наполнявшие его люди не подавали признаков жизни, но сквозь стекла Хлопьянов чувствовал чей-то острый пристальный взгляд, и этот взгляд наблюдал за ним, выбрал его среди множества зевак и прохожих.

Это насторожило Хлопьянова, он стал озиаться и опять увидел пухленького кавказца в шелковом галстуке. Тот стоял у приоткрытой дверцы «джипа», засунув руки в карманы. В сумрачной глубине салона голубели на доске циферблаты, драгоценно мерцала хромированная связка ключей. Тревожное предчувствие не покидало Хлопьянова. Кофейный «мерседес», толстобокый «джип» и он, Хлопьянов, были стянуты невидимой струной, тончайшим лучом, излучавшим из лазерного прицела, – так ощущал Хлопьянов взгляд наблюдавших за ним людей. Но тревога понемногу утихла, растворилась в едком раздражении и страдании, которыми он продолжал себя мучить.

Небо над площадью было в туманных фонарях, в млечных лунах, в металлических серебристых созвездиях. В черноте разноцветно и радужно проносились кометы, проплывали полупрозрачные светила, нависали, увеличивались и рассыпались в мерцающую пыль загадочные лучистые звезды. И в этом живом, оплодотворенном Космосе, как в таинственном нерестилище, разливались струи молока, взбухали гроздьи икры, копошились странные мальки и личинки.

Над ним проплывала матовая полупрозрачная икринка, наполненная таинственной слизью, и в ней мягко плавал, вращался головастик с набухшими глазками, с беззвучно открытым ртом. Тельце, конечности, хвостик были едва намечены, и все внутреннее пространство икринки занимала голова, безволосая, круглая, с фиолетовым пятном на лбу. Она вдруг увеличивалась, наполнялась соком, становилась румяной, глазированной, энергично пульсировала,

а потом бледнела, опадала, сморщивалась, и от нее оставался мятый тусклый чехольчик. Это был президент Горбачев, то ли еще неродившийся, прилетевший из бездонных глубин Вселенной, внедренный в земную жизнь, чтобы вылупиться, развиться, превратиться в страшное чудовище, сожрать огромную цветущую страну и исчезнуть, оставив скелеты, дымные руины, саркофаги взорванных станций. Или, напротив, он уже прожил свою жизнь на земле и теперь покидал планету, превратившись в малька, уютно устроившись в крохотном модуле отлетающего корабля.

Следом, свернувшись в продолговатом яичке, упираясь коготками в прозрачную пленку, выгибая ее изнутри, явился Александр Яковлев, словно по небу пробежал черный муравей и выронил эту белую личинку. Зародыш обладал всеми признаками будущей взрослой особи, даже был облачен в жилетку, и его подслеповатые глазки обиженно мигали на сердитом землистом рыльце. Это уж потом его подслеповатое, изрытое страстями и ненавистью лицо станет появляться во всех кабинетах, политических салонах и масонских собраниях. Вкрадчивый велеречивый советник, отдыхающий на могильных плитах своих подсоветных, рисующий палочкой волшебный узор каббалы, созывающий на ночные радения духов болотной воды. Все тайные службы и партии, все «народные фронты» и «межрегиональные группы», все бледные с красными губами вампиры, выпившие соки страны, размножились из кусочков его жилетки, смоченной мертвой слюной. Теперь он раскачивался в продолговатом яичке, как в крохотном гамаке, и было видно, как свешивается вниз его мохнатая ножка.

В пузырьке, наполненном голубоватым светящимся газом, возник Шеварднадзе, дремлющий эмбрион с водянистыми пустыми глазами, Шашлычник, тамада, парикмахер, чистильщик сапог, – в его вывернутые губы были вложены косноязычные тексты, составленные в мальтийских дворцах. Как кольчатый упорный червяк, проточил свой ход сквозь дряблую сердцевину империи, съел изнутри сладкую мякоть, обескровил Москву и вылез в Тбилиси, поливая землю зловонным соком. Теперь он качался в московском небе, как пузырек болотного газа, тая в себе силу взрыва, способного сжечь мироздание.

Эта странная игра, доставлявшая наслаждение и муку, увлекала Хлопьянова. Он сжимал веки, оставляя зрачкам узкие прорези, и в сплюсненном небе, среди раздавленных светофоров, брызгающих фонарей, размытых, как акварели, реклам продолжали появляться созданные его воображением светила, водянистые луны, болезненные молекулы мира, в которых притаились вирусы и бактерии страшных, поразивших страну болезней.

Мучнистая, как клюквина в сахарной пудре, появилась голова, похожая на посмертную маску. Опушенные веки, изрытые щеки и нос, вдавленные морщины. Голубоватая луна с кратерами и мертвыми морями. Жизнь покинула эту остывшую планету, и она катилась по небу, как мертвая голова. Ельцин, уже неживой, превращенный в камень, в глыбу метеорита, парил над площадью, перевертываясь в свободном полете. Разрушения, которые он принес с собой, истребляющая, как землетрясение, сила, яростная брызгающая ненависть коснулись его самого. Превратили в известняк с отпечатками скелетов, разрушенных городов, потопленных кораблей. При жизни его лицо напоминало жилистый, стиснутый до синевы кулак. С этим лицом он прыгал с ночного моста, облетал Статую Свободы в Нью-Йорке, мочился на шасси самолета, пел «Калинку-малинку» и, обрядившись в медвежьи шкуры, скакал под шаманский бубен. Он залил кремлевские дворцы водкой и рвотной жижей. Окружил себя кликушами, садистами и ворами. И взорвав Ипатьевский дом, разрубив топором государство, потопив Черноморский флот, он ушел, оставив вместо России горы битой посуды, забытую кем-то ермолку и «Орден Ора», заляпанный капустным рассолом.

Хлопьянов играл, словно площадь была огромным игральным автоматом, и он движением зрачков вызывал на экране разноцветные пятна и образы.

Его отвлекло повторившееся ощущение тревоги, предчувствие близкой опасности. «Мерседес» оставался на прежнем месте, поблескивая хромированным радиатором. Сквозь

тонируемое лобовое стекло не было видно лиц, но по-прежнему исходил зоркий внимательный взгляд. Кавказец в галстук поставил начищенную туфлю на порожек «джипа», оглядывал вечернюю толпу, словно искал в ней знакомого. Невидимая натянутая струна соединяла обе машины. Тончайший луч, будто из лазерного прицела, тянулся от «мерседеса» к кавказцу, и Хлопьянов стоял на пути луча, как преграда. Машинально Хлопьянов посмотрел себе на грудь, ожидая увидеть малое красное пятнышко. Шагнул в сторону, освобождая дорогу лучу. Это смятение и тревога продолжались секунду, и он вновь забылся, предаваясь больным и сладостным галлюцинациям.

На темный небосклон, гонимый невидимым ветром, вращаясь, переливаясь множеством радужных пленок, всплывал прозрачный мыльный пузырь. На нем висела мутная капелька мыла, пуповинка, соединявшая пузырь с бумажной трубкой, сквозь которую чье-то дыхание выдуло перламутровую сферу, поместило в нее живую личинку. Она непрерывно извивалась, пульсировала крохотными пятипалыми лапками, двигала узкой, как у ящерицы, головой и непрерывно росла. Хлопьянов, научившийся в этих эмбрионах угадывать политических деятелей, узнал в личинке Бурбулиса.

Существа, подобные ему, описаны в учебниках палеонтологии. Их находят в виде окаменелых скелетов на дне торфяных болот и в угольных шахтах. Они оставляют на камнях отпечаток, напоминающий след проскользнувшей змеи. Вместо души и сердца у них горсть костяной муки. Бурбулис был тем, кто в Беловежье держал пьяную руку Ельцина, направляя удар ножа. Его политика – бесконечная, как ядовитая паутина, интрига. Он производит впечатление бессмертия, как ящер с реликтовой ненавистью ко всему теплокровному. Возросший среди холодных хвощей и потных папоротников, он непрерывно рассуждает о каких-то странных идеях, издавая глазами костяные щелкающие звуки. В придуманных им референдумах, выборах и конституционных собраниях сквозь сиюминутный клекот и гам слышится одинокий и печальный крик выпи, забытой среди древних болот.

В удлинённой оболочке, напоминавшей пузырь воблы, плыл Полторанин. С манерами плутоватого приказчика, который обвешивает покупателя, бывает схвачен за руку, неоднократно бит, но каждый раз возвращается в лавку, пускай с синяками, но всегда с легким хмельным румянцем, с луковым душком, с неизменно хитрыми глазками, угадывающими любое поползновение хозяина, подмечающими где что плохо лежит и моментально краснеющими от ненависти, если замаячит враг.

В курганах скифских царей находят высохшие тушки собак. В ногах умершего Ельцина, завернутый в портянку, будет похоронен Полторанин.

В сгустке прозрачной слюны, созданный из мазка слизи, занесенный, как таинственная сперма других галактик, возник Козырев. Его постоянно блуждающая улыбка, как свет луны на чешуе мертвой рыбы, его выпуклые в голубых слезах месопотамские глаза, его анемичная речь утомленного, предающегося порокам ребенка сопровождаются русской трагедией. Он укрепляет и снабжает оружием фашистские режимы Прибалтики, где начинают постреливать русских. Он способствовал блокаде югославских славян и голодной смерти грудных младенцев. Он одобрил бомбардировку Ирака, где ракетой убило актрису. Как бы ни развернулись события, он уцелеет и завершит свои дни в Калифорнии, перелистывая томик Талмуда, поглаживая сухую обезьянью лапку, подаренную московским раввином.

В волдыре жидкой крови, покачиваясь на тонком хвостике, головастый, как сперматозоид, уловленный для искусственного осеменения, плыл Гайдар. Введенный через трубку во влагалище престарелой колдуньи, такой сперматозоид превратится в олигофрена, чей студенистый гипертрофированный мозг выпьет все жизненные силы организма, и их не хватит на создание души. Желеобразное серое вещество, помещенное в целлофановый кулек, на котором нарисованы маленькие подслеповатые глазки, вырабатывает непрерывную химеру, от соприкосновения с которой останавливаются поезда и заводы, падают самолеты, перестают рожать

поля и женщины, и ярче, брызгая желтым жиром, пылает печь крематория. Приближение Гайдара узнается по странному звуку, напоминающему еканье селезенки, или разлипаемых под давлением дурного газа слизистых оболочек. Глядя на него, начинаешь вспоминать художников прежних времен, изображавших румяных упырей на птичьих ногах, ступающих по мертвой земле среди испепеленных городов, неубранных мертвецов и виселиц.

Тыкаясь острой усатой мордочкой в прозрачную плевру, перемещался в небе Шахрай. Придворный зверек, обитающий в платяном шкафу господина, творец невыполнимых указов, лукавых уложений, умопомрачительных законов, цель которых в непрерывном ослаблении страны, расчленении ее на множество рыхлых гнилушек, на горки трухи и гнили. Его действия напоминают поведение корабельной крысы, прогрызающей мешки с припасами, бочки с соляной и порохом, доски трюма, сквозь которые начинает сочиться вода. И вот уже корабль, оснащенный в плавание, начинает тонуть у пирса, и с него тихонько ускользает усатое существо с выпуклыми глазками и отточенными в работе резцами.

Хлопьянов очнулся от острого, как спица, чувства опасности. «Мерседес» тронулся, медленно приближался. Опускалось тонированное боковое стекло. Скуластое молодое лицо щурило глаз, и у этого глаза тускло, отражая фонарь, блеснул ствол. Хлопьянов мгновенным взглядом, привычным глазомером, продлевая линию ствола, довел ее до кавказца, до лакированной дверцы «джипа». Ствол начинал раздуваться пламенем, выдувал на конце пышный рыжий цветок с черной пустой сердцевинкой. Хлопьянов сильным длинным броском сбил кавказца на землю, повалил на асфальт у пухлого колеса «джипа». Слышал, как пронеслись над головой пули и сочно врезались в дверцу.

«Мерседес» сворачивал на бульвар, огрызался неточной улетающей в небо очередью. В глубине салона, среди стриженных молодых голов померещилось Хлопьянову чье-то знакомое лицо. Но он тут же забыл о нем, отваливаясь от тучного тела кавказца.

– Кто? – хрипел маленький толстый человек, сидя на асфальте, глядя на пулевые отверстия, разворотившие дверцу. – В кого?

– Быстро в машину! – Хлопьянов встряхнул его за плечи, так что затрещал модный плащ. Втолкнул его на заднее сиденье, сам ввинтился на переднее. Повернул ключи. Кинул машину вперед. С ревом и хрустом железа свернул с площади, повинуясь животной реакции. Мгновенно покинул место, где было совершено нападение.

Он крутился в переулках, в их путанице, тесноте. Вписывал толстобокую машину в крутые повороты, проскальзывал под красный свет на Бронной и у Патриарших прудов. Посматривал в зеркало, не вспыхнут ли фары погони. И эта ночная гонка, крутые виражи, ожидание выстрела возродили в нем пугающе-сладостное переживание, – ночной Кабул, глинобитная, освещенная фарами стена, чья-то тень исчезает в проулке, струйка ветра пахнула в пробитое пулей лобовое стекло.

Они выехали на Садовую, слились с потоком машин. Потерялись среди их шипения и блеска.

– Стреляли в меня или в вас? – Хлопьянов обернулся через плечо к человеку, отвалившемуся на заднем сиденье. Маленький, круглый, он утопал в мягких кожах, испуганно отодвинувшись от окна.

– В меня, – сказал человек.

– Вы кто? – спросил Хлопьянов, почти успокаиваясь, мягко ведя мощный «джип», искоса наблюдая параллельное скольжение машин.

– Банкир...

– Почему без охраны?... Могли подстрелить, как курчонка.

– Заманили... Чувствовал, что подставка... Сам виноват...

– Куда вас везти?

– На Басманную. Там охрана.

Они въехали во двор старомодного дома. Под яркими светильниками веером стояли лимузины. Зорко смотрел глазок телекамеры. Навстречу из застекленного цоколя выскочили проворные люди. Раскрыли дверцы «джипа», помогали выйти грузному, с опущенными плечами, кавказцу.

– Акиф Сакитович, мы вас искали!.. Две машины за вами послали!.. Ваш радиотелефон молчал!..

– Пойдемте! – не отвечая охране, хозяин «джипа» жестом пригласил Хлопьянова, вошел в подъезд, волоча за собой выпавший пояс дорожного плаща. Хлопьянов двинулся следом за тонкой, струящейся по ступеням бахромой.

Мимо вскочившей встревоженной obsługi они проследовали в просторный кабинет, уставленный дубовой мебелью, мягкими креслами. Кавказец сбросил плащ на пол. Открыл дверцу бара. Достал бутылку французского коньяка и два хрустальных стакана. Налил их до половины.

– Вы спасли мне жизнь. Я ваш должник. Чудо, что вы оказались рядом!

Чокнулись. Хлопьянов, глотая вкусный терпкий коньяк, видел, как жадно пьет кавказец, как дрожат его закрытые темно-фиолетовые веки, сотрясаемые глазными яблоками.

Хозяин кабинета порывлся в пиджаке, выронил из кармана носовой платок, извлек связку ключей и открыл сейф.

– Вот здесь миллион... – протянул он Хлопьянову пачку денег. – Сегодня наличными больше нет. Завтра будут.

– Не надо, – сказал Хлопьянов, отказываясь от денег. Осматривал комнату, чувствуя, как посветлело, потеплело в глазах от первого сладостного опьянения.

– Все – случай!.. Жизнь – случай! Смерть – случай!.. Опасность всегда исходит от самых близких!.. Говорил себе, не встречайся!.. Если б убили, так и надо!.. Сам виноват!..

– Кто они? – спросил Хлопьянов, разглядывая смуглое отечное лицо человека, пачку денег в его руках. Он не хотел получить ответ. Все происшедшее его не касалось. Случайная встреча под ртутными фонарями, выстрелы, гонка по ночным переулкам, – все это было чужим, не его, не могло иметь продолжения. Имело привкус ненужного дурного повтора. Это уже было когда-то, то ли в Кабуле, то ли в Бендерах, – то же ощущение легкого хмеля после пережитой опасности.

– Я пойду, – сказал Хлопьянов, делая шаг к дверям.

– Вы кто? Почему не хотите взять деньги?

– Мне надо идти, – повторил Хлопьянов.

– Я ваш должник. Не знаю, чем вы занимаетесь. Вот моя визитная карточка... В любое время дня и ночи... У меня большие возможности...

– До свидания, – повторил Хлопьянов и вышел из кабинета. На лестнице он заглянул в визитку. «Акиф Сакитович Нариманбеков. Председатель банка». Охрана услужливо открыла ему дверь. У подъезда стоял освещенный «джип» с пулевыми отверстиями в лакированной дверце.

Глава вторая

Хлопьянов медленно брел по Садовой, которая прогоняла сквозь себя непрерывный шуршащий свет. Облизывала ему ноги, как ночное светящееся море. Дома вокруг казались непроницаемыми, без ворот, проулков, подворий. Стояли, как горы, сплошной стеной, не пускали Хлопьянова в соседние улицы, переулки, выдавливали, вытесняли, хотели сбросить в шипящую плазму, под колеса машин. Город был чужой, населенный чужаками. Хлопьянов, прожив вне Москвы, вернулся в нее, как из Космоса, потеряв во время своего путешествия целую эру, и теперь не находил своих современников. Натыкался повсюду на потусторонние лица, на знаки иной культуры, иного уклада и строя. Не было для него пристанища, не было дома, где его поджидали. Семьи, где его любили. Души, готовой откликнуться на его печали и горечи.

Он пробирался сквозь каменные теснины, с трудом одолевая перевалы, погружаясь в распадки, скатываясь в пологие низины. Движение по Москве напоминало блуждание в безлюдных горах Гиндукуша, где он стоптал не одни подошвы, расстрелял не один магазин, и теперь, потеряв тропу, без товарищей, без боекомплекта, брел наугад на туманные миражи и видения.

Этими видениями были воспоминания о школьных товарищах, которых след простыл, исчезли их детские лица, звонкие голоса, похождения и шалости в московских снегопадах и ливнях. Исчезли девушки с забытыми именами, которых провожал до сумеречных подъездов, ликуя от быстрого пожатия холодных пальцев. Исчезли мама и бабушка, высокое золотое окно, к которому приближался, зная, что взбежит сейчас по ступенькам, позвонит в фарфоровый старинный звонок, и за дверью откликнутся, заторопятся знакомые шаги.

Его мысль растерянно и слепо кружила, натываясь повсюду на преграды. На ядовитые рекламы заморских Табаков и напитков. На вывески ночных ресторанов и клубов. На чуждые слуху названия новоявленных банков и фирм. Москва была закодирована, зашифрована, исписана заклинаниями и заговорами. И эти заклинания отрицали его, не пускали, выталкивали прочь из города.

И вдруг он увидел дом. Изумился его появлению. Изумился внезапно возникшему тяжелому фасаду с уходящими в высоту фронтонами, декоративными колоннами, с полукруглым провалом огромной ветряной арки, с желтизной квадратных одинаковых окон. Дом возник из мглы, словно его поставили среди незнакомых кварталов, захламленных скверов, искривленных переулков и улиц. Хлопьянов в изумлении смотрел на дом, на подъезд, выложенный тусклым гранитом, на массивную дверь. Удивлялся чуду появления дома. Так в чужих враждебных горах утомленный глаз отыщет контур знакомой горы, нога нащупает знакомую тропу, а душа, минуту назад погибавшая и несчастная, восхитится своему избавлению, устремится к спасительной цели.

Дом был знаком. В нем обитала женщина, которую он любил. Которую измучил, оставил, снова вернулся, опять извел и измучил и покинул в который раз, отправляясь на войны, на бойни, в безнадежные походы, куца посылала его бессильная армия, обезглавленная страна. И вот по прошествии лет он снова стоит перед домом, постаревший, измотанный, ищет на фасаде ее высокое окно, вдыхает запах ее подъезда, страшится переступить порог, за который он когда-то ступил, чтобы больше не возвращаться. Но пройдя по огромным кругам, потеряв друзей, израсходовав силы, израненный и несчастный, он снова стоит перед домом, робеет и хочет войти.

В этот час ее могло не быть дома. Или у нее могли оказаться гости. Или у нее мог находиться мужчина. И его появление будет нелепым, бестактным. Ему лучше уйти, не тревожить ее. Он вернулся к ее дому без подарков, без цветов, без веселья в душе. С печалью, унынием, с уродливой поклажей неудач, поражений, как беженец, горемыка.

Он хотел пройти мимо подъезда, мимо ветряного полукруга арки. Но испытал вдруг такой страх, такое острое предчувствие своей неизбежной близкой смерти, что кинулся на ступеньки, как на убираемый трап парохода, скользнув над черным прогалом воды. Уже находился в медленном поскрипывающем лифте, угадывая в этих скрипах и шорохах исчезнувшую музыку счастливых дней.

Дверь была знакома, обита все той же искусственной кожей. В одном месте кожаная бахрома отвалилась, и эта неопрятность и запущенность двери бросилась ему в глаза и обрадовала. К дверям не прикасалась мужская рука. Осмелев на мгновение и тут же опять оробев, он нажал знакомую, с темной выемкой кнопку звонка. Услышал в глубине, по ту сторону двери, тихий печальный звук. И пока этот звук замирал, он все падал с откоса, держа на весу автомат, и внизу петляло шоссе, и горела, клубилась, брызгала пламенем подоженная в ущелье колонна.

Звонок замирал в глубине. На него откликнулись быстрые, едва уловимые шаги. Со страхом и умилением он представил, как касаются пола ее легкие узкие стопы, она проходит коридор, отражаясь в овальном зеркале.

– Кто? – спросил негромкий и, как показалось ему, печальный голос. И снова его мужское чувство обрадованно подсказало ему, что это печаль одиночества.

– Свои, – сказал он.

Дверь отворилась, и он увидел ее лицо. Лишь угадал в глубине знакомую прихожую, овальное, полное серебряной мути зеркало, стеклянный абажур на цепях. Но все, как в тумане. А перед ним – освещенное, близкое, было ее лицо. И на этом лице, как стремительные смены света и тени, мелькали испуг, изумление, мгновенная радость, раздражение, отчуждение, и снова радость, и снова испуг. Эти быстрые перемены с малым опозданием отражались и на его лице. Она словно заметила это, удержала в своих серых глазах изумленное отчуждение.

– Ты?... Откуда?... Зачем?...

Она пустила его, и он сидел в ее комнате на диване, шурясь на зеленоватую настольную лампу. Оглядывал, узнавал предметы, словно бережно брал и ставил на место. Пугался, если встречал незнакомый предмет, представляя рядом с ним кого-то другого.

Книжная полка с невзрачными, разновеликими корешками книг, и среди них синий томик Волошина. Он вынимал его, подсаживался к окну, за которым сыпал мягкий прохладный снег. Чтение жарких, южных, яростно бурлящих стихов странно сочеталось с московским снегом и с ней, дремлющей под полосатым пледом.

Диван, – раздвигаясь, он тонко и печально звенел, словно в нем задевали струну. Она стелила чистую широкую простыню, клала две белые пышные подушки. Его волновали ее наклоны, сильные взмахи голых рук, заталкивающих цветное одеяло в накрахмаленный конверт пододеяльника. И потом утром, когда она уходила, а он еще дремал, подушка тонко пахла ее духами, ее душистыми волосами, и он сквозь сон с нежностью касался губами подушки.

Цветок на окне, – глянцевые в красных прожилках листья, на которых висели прозрачные липкие капли. Он подходил к цветку, вглядывался в клейкую драгоценную каплю, в которой, как в бусине, отражался город, мчались автомобили, теснились дома и дрожала искорка солнца.

Все это было знакомо, – и книги, и диван, и разросшийся цветок с висящей капелькой сока.

Но на диване лежала новая, слишком цветастая подушка, сшитая из шелковых лоскутьев. На полке стоял нарядный том в глянцевом переплете. В буфете виднелась высокая золоченая чашка. А на стене, у оконной шторы висела икона, которой прежде не было. Теперь же ее смуглый и строгий образ менял всю комнату, господствовал в ней, стеснял его движения и мысли.

– Неделю, как приехал... – говорил он смущенно, – Город какой-то чужой... Оказался в твоём районе... Рискнул без звонка...

Она слушала рассеянно, словно его приход прервал какую-то мысль. Она боялась ее забыть, ждала, когда он уйдет, и она снова вернется к мысли, додумает ее без него.

– С армией распрощался... Кому служить?... Теперь, похоже, я человек свободной профессии...

Он пытался поймать ее взгляд, отвлечь от неведомой мысли. Направить ее мысли туда, где они были когда-то вместе. В музейный зал, где в осеннем солнце драгоценно висели картины. Сочный, красный, на зеленом лугу хоровод. Женщина, млечно-жемчужная, среди пышных одеял и подушек. Балерина голубая и хрупкая, похожая на крыло стрекозы. Они переходили от картины к картине, из одного пятна солнца в другое.

– Такое ощущение, что люди кругом другие... Фасады домов все те же, а люди другие... Подымался к тебе на лифте, думал, позвоню, откроется дверь, а ты уже здесь не живешь...

Он хотел ее увлечь в далекий перламутровый день, когда на лыжах катались с горы. Скользя, полетела по склону, уменьшаясь, в прозрачной дымке. Ее красный свитер, как ягода, пламенел в тенистой долине. Он любовался ею с горы, – вот сейчас толкнется, пролетит по серебристой дуге, упадет из солнца в синюю прохладную тень, поцелует ее в румяную щеку.

– Так рад, что вижу тебя...

Она не отвечала, не откликалась. Но он чувствовал, она следует за ним туда, где было им когда-то чудесно. Подмосковный осенний лес, и на черной дороге красные листья осины. В каждом голубое зеркальце, холодная брызга дождя. Она подняла с земли лист, протянула ему, и он выпил из красного блюдца каплю, ощутив на губах прохладную горечь листа.

– Не знаю, как дальше жить...

Он умолк, испугавшись, что кончаются краткие минуты его пребывания здесь, в ее доме, где он оказался случайно. Ему следует встать и уйти, очутиться в тусклом подъезде, в скрипучем лифте, услышать, как наверху слабо хлопнет дверь. И город, поджидая его у подъезда, положит ему на лоб свою каменную холодную лапу.

Он оглядывал комнату, прощаясь с ней навсегда. Словно отставлял от себя наполнявшие ее предметы. Стул с высокой выгнутой спинкой, на которой когда-то висел ее цветной поясok. Абажур, который так радостно и нарядно освещал их первый домашний ужин. Хрустальную вазу, в которую он поставил хрупкую осеннюю хризантему. Он переводил глаза с подзеркальника, где пестрели флаконы, шкатулки, лежали браслеты и кольца, – на резную тумбочку с фарфоровой статуэткой. И вдруг на тумбочке увидел стеклянное блюдо, в которое были насыпаны камушки. Морская круглая галька, – те самые заветные камушки, что она привезла из Сухуми. Там, у моря, им были дарованы чудные дни.

Она выхватывала камушки из прозрачной шуршащей воды, складывала их в косынку. И потом в Москве, перебирая их, как талисманы, они вспоминали вкус перезрелой хурмы, запах сладкого дыма, белую лошадь, бредущую вдоль кромки прибора, черно-красную бабочку, присевшую подле них на скамейку. Камушки все еще были в блюде, без воды, засохшие и поблекшие. Стояли на прежнем месте. Их не вынесли из дома, оставили на будущий случай. На случай его возвращения.

– Они здесь?... Прости, я сейчас!..

Он торопливо поднялся, взял блюдо, отнес в ванную. Подставил под кран. Из хромированного крана упала холодная прозрачная влага, оросила камни, смыла пыль и зажгла. В каждом открылось маленькое цветное око. Они глянули на него многоглазо и сочно сквозь прозрачную воду, окруженные хрусталем. Ликуя, обрызганный водой, ухватив гладкую вазу, он внес ее в комнату, поставил под абажур. Видел, как переливаются залитые водой камни. Она изумленно, испуганно смотрела, и не было в ней отчуждения, он был желанный гость в ее доме.

Они сидели за столом перед хрустальным блюдом, опутив в него кончики пальцев. Перебирали гладкие камушки, извлекали из воды разноцветные зерна. Снова бросали, и взлетающие капли были напоминанием о тех соленых брызгах моря, среди которых им было так хорошо.

– А помнишь, – он держал на ладони мокрое зеленое ядрышко, – как шли по набережной, от фонаря к фонарю, и бабочка летела перед нами, усаживалась, поджидала, когда мы подойдем, и снова взлетала. Словно вела нас к белому кораблю, на котором уплыли в море...

– А потом, – вторила она ему, сжимая розовую прозрачную гальку. – Потом мы стояли на палубе, и за нами летела маленькая темная уточка. Садилась на белую пену и снова взлетала. Ты сказал, что бабочка превратилась в морскую уточку, не хочет нас покидать...

– А потом уточка превратилась в белую лошадь, которая шла вдоль прибоя. Чмокали в камнях ее копыта. Проходя, она посмотрела на нас сиреневым солнечным глазом.

– Помню лошадь, – сказала она. – И какой сочный соленый дул ветер. Мы ели хурму, оранжевую, терпкую, кидали на камни гладкие черные косточки. Вдалеке, сквозь зеленый туман, по ту сторону моря белел Новый Афон. Ты сказал, что там, на берегу тоже сидят влюбленные, едят хурму, бросают в море черные косточки.

– А помнишь, как зашли на рынок, уселись за длинные голые столы. Нам принесли горячие чебуреки, бутылку красного вина. Доски стола были черно-красные от жира, вина и красного перца. И какой-то старик в мятой шляпе все смотрел на нас, пока мы пили вино.

– Все помню, – сказала она.

Она перебирала камушки, их пальцы встречались в стеклянном блюде. Он видел, как она сжимает перламутровый осколок ракушки. Из блюда, как из волшебной чаши, излетали драгоценные забытые образы. Горы в красных лесах, груды палой листвы, синий душистый дым. Ее платье пахло благовониями осени, и он стоял у ночного окна, чувствуя голой грудью бесчисленные ожоги больших белых звезд. Они медленно, всем своим блеском, уплывали за край окна, и это было вращение земли. Она говорила ему потом, что смотрела на него в темноте и видела, как звезды текут мимо его лица.

– Ты правильно придумал, когда налил сюда воду, – сказала она, вынимая пальцы из блюда. – Угадал, что это на меня подействует. На меня всегда это действовало, такие пустяки, как камушки, или веточка дерева, или уточка, или бабочка. Я сентиментальна, не так ли? Ты пришел среди ночи через три года и думал, что я тебя жду! «Ах, мой милый, мой долгожданный! Какое счастье, что ты вернулся!»

Он испугался жестких, почти жестоких ее интонаций. Выражения ее лица, которое вдруг подурнело, постарело, и у тонких губ обнаружились едва заметные злые морщинки.

– Думал, вот сейчас плесну водички, камушки заиграют, и дурочка моя встрепенется!.. Кинется мне на шею: «Я тебя три года ждала, спасибо что вернулся, мой герой, мой рыцарь!.. Вот твои книги на полке! Вот твое любимое покрывало! Вот твои разноцветные камушки! Все сберегла, все сохранила!..» Да? Ты так думал? Ты на это рассчитывал?...

Ему стало больно за нее, за себя. За ее милое любимое измученное лицо, на котором легкой пылью лежала усталость, едва заметное необратимое увядание. Оно случилось без него, и хотелось обнять ее, поцеловать горькие морщинки у губ, отвести из-под света яркой лампы в тень, чтобы стали они не видны. И он сидел и слушал ее быстрые язвительные слова.

– Ты думал, я стану тебя поджидать всю жизнь, как об этом пишут в романах? Ты приезжаешь на час, поливаешь водой камушки, а потом уезжаешь на три года? Совершаешь подвиги, берешь штурмом крепости и города, а я молюсь за тебя! Чтобы тебя миновала каленая стрела и булатная сабля! Ты приезжаешь с победой, мой герой, мой рыцарь, и я счастлива, гляжу на тебя с обожанием, перебираю мокрые камушки!

Она смеялась, и смех ее был металлический, ядовитый. Он пугался ее незнакомого смеха, пугался случившейся с ней перемены. Не знал ее природы, тех обстоятельств и тех людей, которые сумели ее так измучить. И вдруг догадался, что он и был тем человеком и тем обстоятельством, которые измучили ее.

– Да, я тебя ждала! Слушала ночами лифт! Думала, вот звякнет, остановится на моем этаже, и ты войдешь, пыльный, утомленный солдат с войны! Я поведу тебя умываться, смою

походную пыль, оботру тебя чистым полотенцем! Буду целить, целовать твои раны! Все, как в романах!.. Но ведь я могла и не ждать! У меня могли быть другие мужчины! Они и были! За эти три года, что ты мне подарил, здесь бывали другие мужчины!.. Ты пришел, и все начнется сначала? Да? Ты так думаешь?

Ему было плохо. Он должен был встать и уйти. Она накопила против него столько ядовитых обид, столько недобрых, хорошо подобранных слов, что ему было нечем ответить. Не было у него ответных слов и ответных обид, а только непрерывная боль. Он сжал глаза, стараясь не пустить эту боль на дно глазных яблок, где еще мерцало отражение морской разноцветной гальки и давнишних осенних гор.

– Ты вошел и сразу стал оглядывать комнату! Искал след другого мужчины! И успокоился, когда не нашел!.. Но ты ошибаешься! Там в шкафу висит его рубаша и галстук! Вон в буфете его любимая чашка! А на столе его бумага, отточенные карандаши! Он сейчас придет, и ты его увидишь! Он лучше тебя, умнее, добрее! Занят полезным разумным трудом! Он сделал меня счастливой! Заполнил пустоту, которую ты оставил!.. Подожди немного, он придет, и ты сможешь с ним познакомиться!..

Ему было худо. Не было сил подняться, направиться к двери, уйти. Она мучила его, мстила ему. Сознательно, с наслаждением причиняла ему страдание. И он встанет, волоча ноги уйдет, утянется за собой в черный город свое страдание.

– Чего ты добился в жизни? Кого сделал счастливым?... Мечтал стать генералом, а остался вечным полковником!.. Государство, Родина, о которых ты разглагольствовал, – они пыль, обломки, ничто!.. Армия, которой ты служил, она развалилась без единого выстрела! Может, ты построил семью, родил ребенка, насадил сад?... Всю жизнь промотался там, где убивают, дымятся головешки, валяются трупы!.. И вот ты явился, как старый волчище, и думаешь, что тебя пожалеют!.. Ты – неудачник! Состарившийся неудачник. Таким и умрешь!..

Она смеялась, помолодевшая, похорошевшая от своей неприязни к нему. Ему казалось, он падает, проваливается сквозь фольгу в пустоту, в погибель. Она вдруг перестала смеяться. Испуганно приблизила к нему глаза. Словно разглядела его ужас, угадала его падение. Подхватила его налету, спасая, возвращая обратно в свет абажура.

– Боже мой, что я говорю!.. Не верь!.. Нет никакого мужчины!.. Я ждала!.. Я так тебе рада!.. Она гладила его волосы, пробиралась быстрыми горячими пальцами под его воротник. Расстегивала пуговицу на рубаше. Распускала тугой узел галстука.

– Ты прости меня!.. Наваждение!.. Так рада, что ты пришел!..

Ее лицо в темноте, тихие шепоты, знакомые нежные запахи, чуть видное сияние кожи. Теплый щекочущий куст волос надо лбом. Осторожно подуть на него, и он, как пшеница под ветром, раздувается до земли, и у самых корней пробежит серебристая птица, мелькнет прозрачно стрекозка, глянет синий цветочек.

Он целует ее глаза, чувствует трепет ресниц, словно у губ шелестит и бьется малая бабочка. Осыпает пылью, и ее голова, белая в полумраке подушка, сумрак комнаты наполнены легкой пылью, облаком порхающих бабочек.

Ее брови, как два узких шелковистых листа, вырастают из нежной ложбинки, и на дне ее чуть заметная капелька света, теплого чудного воздуха, и он чувствует слабый запах цветочного сока.

Ее ухо, как ракушка в свете луны, в переливах и отсветах. Он касается ее языком, слабо вдувает воздух, и она откликается едва уловимым шумом. Открыто ночное окно, близкое шумящее море, и лежит на столе теплый завиток перламутра.

Он ее целовал. Слышал, как сердце стучит все громче и громче, словно нес ее на руках, поднимал в гору. Внизу оставались сады, зеленая река, кишляки и застрявшая в ущелье колонна. Еще один наливник лопался красным взрывом, гулкий железный удар разлетался в

окрестных горах. Он уносил ее вверх, задыхаясь, все выше и выше. Тропинка под ногами терялась, мелькнул на камнях белый птичий скелет, рывтина сухого ручья опалила мгновенным жаром, застыло над вершиной белое облако. И он возносит ее к этому облаку, к темной безопасной вершине, куда не достигнут пули и липкие капли горючего. Внизу на трассе мчались боевые машины, крутились пулеметы на башнях, белый бинт на груди наливался красным пятном. А он ее возносил, толкаясь о камни, с болью в сердце, моля о спасении. Достигли вершины по другую сторону кручи. Из облака брызнул пучок лучей, и они, превращаясь в птиц, с легким свистом прыгнули вниз, к цветущей долине, к солнечному блеску реки, коснулись сумрака свежей листвы, влетели в тенистый сад, уселись на ветках среди оранжевых плодов.

Они лежали, едва касаясь плечами, в зеленоватом пятне от окна, и она говорила:

– Ждала тебя каждый день. И утром, и днем, и ночью, Думала, вот раздастся звонок, и ты на пороге. Худой, загорелый, с виноватыми испуганными глазами, совсем, как сегодня... Когда позвонил, я знала, что это ты. Шла открывать, думала, – нет, не он, соседка, подружка, кто-то по ошибке звонит. А сама знала, что ты! Открыла, и ты стоишь!

– А я шел к тебе пешком целый час. Думал, просто гуляю, плутаю в городе, навещаю знакомые улицы. А шел к тебе. Дом за домом, переулок за переулком. Узнавал каждый фонарь, каждый лепной карниз.

Запрещал себе думать, что иду к тебе, а сам шел. Когда увидел свет в твоём окне, гадал, одна – не одна! Пустишь – не пустишь! Как хорошо, что пустила...

– Я получила твоё письмо зимой, ты писал, что ранен, но не ответила тебе. Все во мне было против тебя. А спустя две недели написала, и ты не ответил. Должно, уехал из госпиталя. Пошла в церковь и поставила за тебя свечу.

– Последний год переезжал с места на место, как во время пожара, когда горит под ногами трава, и не знаешь, куда встать. Посылал тебе письма почтой, но ты не отвечала. Посылал с оказией, с командированными офицерами, но они не возвращались. Ты мне приснилась однажды, больная, несчастная, просишь пить. Несу тебе кружку, но знаю, она пуста, без воды. И так страшно за тебя, за себя!

– Ты мне тоже снился, и тоже как-то ужасно. Куда-то бежишь, кого-то зовешь. Сидишь за железной решеткой. Я протягиваю сквозь решетку руки, а меня больно бьют по рукам.

– Мы не должны были расставаться. Ссорились, мучили друг друга, но не должны были расставаться. Теперь никуда не уеду, буду здесь, с тобой. Скажи, мы больше не должны расставаться?

– Не должны...

Они лежали в длинном струящемся зеленоватом пятне света от ночного окна, как в прозрачном ручье.

Казалось, ее ноги, грудь, дышащий живот серебрятся в потоке. Над ней проскальзывают быстрые светлые рыбы, – это на улице, брызнув фарами, пролетали одинокие автомобили.

– За это время, что мы не видались, случилось столько утрат! – говорила она, – Библиотека, где мы познакомились, закрылась. Подружка моя, хохотушка, которая, ты помнишь, на гитаре играла, – умерла. Другая подруга вышла замуж за богача, – роскошные автомобили, поездки на Канары, туалеты, я с ней общего языка не нахожу. Кругом все рушится, страдает, ненавидит. Ночью лежу, прислушиваюсь, и кажется: весь мир распадается. Камень домов, асфальт улиц, частички воздуха. И я распадаюсь. Так страшно! Кажется, начинаешь сходить с ума!

Он слушал ее и думал, какая сила их разлучила. Кинула его на окраины гибнущего государства, в горы, в пустыни, в водовороты бунтующих толп. Тот выстрел в толпе у ереванского аэропорта Звартноц, острая боль в плече, армянин с обрезком трубы, и прапорщик сильным рывком втащил его на сиденье, рванул, разрезая толпу. Она в это время лежала в ночи и слушала, как распадается мир, а он в палатке, под капельницей, был частью распадающегося мира.

– Я действительно на какое-то время сошла с ума. Меня мучило одно и то же видение, один и тот же кошмар. Какой-то огромный дом, наполненный людьми. Все о чем-то шумят, куца-то бегут. И ты среди них. Лицо твое белое, дом в огне, пылают потолки, горят балки. Ты ускользаешь от этих падающих стропил и не можешь найти выход. А я знаю, где выход, зову тебя, но не могу докричаться. В ужасе просыпаюсь. И так много раз. Хотела обратиться к врачу, но однажды зашла в церковь, в Хамовниках к Николаю Угоднику. Вдруг почувствовала, что мне хорошо. Там был золотистый цвет, какой бывает в осенних садах. Я стала туда ходить, ставить за тебя свечи.

Он испытывал благодарность. Он не был с ней рядом в те ночи, когда ее душили кошмары. Он был в мерзлых казармах в Гяндже, где вповалку спали солдаты, валялись бронежилеты и каски. Утром их вертолет облетал заставы, и очередью с армянских позиций был застрелен первый пилот, второй перехватил управление, и посадил вертолет среди виноградных лоз. Они заняли круговую оборону, отбивали атаки армян, а она в это время ставила свечку перед образом Николая Угодника, в золотистом вечернем храме, и он был спасен ее неслышной молитвой.

– За что нам такое? Опять на Россию напасти. Чем-то мы, видно, прогневали Господа. Какой-то на нас на всех грех и проклятие! На мне, на тебе. За это нас Господь и карает!

А в нем внезапное раздражение, желчное отрицание. Будто в мышцах сжались волокна, он дрогнул всем телом, пропуская сквозь себя больной заряд электричества.

– Нет никакого греха! Предатели, разорили страну! Открыли ночью ворота и впустили врагов! Стрелять их надо, предателей. Для этого сюда и вернулся. Сам, своими руками! Буду стрелять, как собак!

– Ты что! – ужаснулась она, кладя ему руку на лоб, закрывая ладонью брызнувший из-под бровей пучок ненависти. – Хватит крови! От крови другая кровь, а от той третья. И так бесконечно! Надо очнуться, понять свой грех и покаяться. Тогда, быть может, господь нас простит, и на Россию снизойдет благодать. Так говорит отец Владимир. Я тебя с ним познакомлю.

А в нем слепая волна раздражения, отчуждение от нее. От ее лепета, от облегченных ответов на жуткие, не имеющие ответов вопросы, среди которых погибла страна, сокрушен континент, убиты тысячи несчастных людей и многие еще будут убиты. Он, Хлопьянов, без солдат, без командиров, без армии сам отыщет ответ, возьмется исправлять страшную ошибку истории.

Она почувствовала его отчуждение. Обняла его. Он очнулся, испугался того, что его беспощадное отрицание задело ее, причинило ей вред.

– Прости, – сказала она. – Ты прости.

И опять ее милое, светящееся в темноте лицо. Кустик волос, словно кущи лесной травы, и у теплой земли сладкая земляничина. Ресницы щекотят губы, словно полевой мотылек. Брови, как две весенних сережки ореха, душистые, мягкие. Между ними в крохотной лунке капля тепла и света. Он дышит ей в ухо и, кажется, он целует ракушку, чистый завиток перламутра.

И опять он нес ее на руках, вверх по уступам, прочь от горящих кишлаков. Взрывались цистерны с горючим. Танк сдвигал в пропасть пылающий наливник. Машина рушилась, цеплялась за скалы, оставляя на них клочья огня и железа. А он возносил ее к вершине, к белому облаку, все выше и выше, с колотящимся сердцем, по узкой тропе, где поблескивал сухой хитин голубой горной жужелицы. Туда, куда не достанут пули и прицелы парящего над горой вертолета. Одолев вершину, срываясь, превращаясь в двух легких птиц, ринулись вниз над ущельем, над сверкающей жилкой реки, над полосками зеленых полей. В тот сумрачный чудный сад, где мерцают на ветках плоды. И последняя мысль, – они вне опасности, вместе, его милая Катя рядом, и теперь они неразлучны.

Он заснул и тотчас проснулся. Увидел, в светящемся сумраке она стоит босиком в белой ночной рубашке, молится. Иконы не видно, а только ее белый покров, босые стопы.

Ему было хорошо. Он снова забылся, и перед тем, как уснуть, ему привиделась белая лошадь, идущая по кромке соленого моря.

Глава третья

Он вернулся под утро в свою маленькую квартирку на Пушкинской, в сплетение переулков и улочек, где каждая встречала его беззвучным восклицанием и вздохом, узнавала его, и ему хотелось тронуть шершавую стену дома, погладить фонарный столб, прижаться щекой к облупленной линиялой колонне.

Они помнили его цветную вязаную шапочку, его пузырящуюся нарядную куртку, когда пробегал по заснеженным тротуарам, мимо сосуллек, водостоков, пахнущих сдобой булочных к Патриаршим прудам и на сизом катке, высекая серебристую шипящую искру, оставлял на льду лихой завиток.

Он стоял в своей комнате среди знакомых предметов, и они казались ему уменьшенными, утонченными, ссохшимися, словно потеряли свои соки, цвет, как пролежавшие на солнце плоды.

В последние годы он редко бывал в этой комнате. С тех пор, как не стало мамы, не касался убранства, боясь потревожить ветхий, знакомый с детства уклад, где каждый угол, каждая половица являли собой целый мир с запахами, голосами и образами, и он сам, мальчик, витал повсюду, как легкая тень.

Красный тяжелый гардероб был полон старушечьих одеяний, – темных платьев, изношенных пальто и шляпок, линиялых платков и косынок. И если открыть скрипучие дверцы, оттуда, как духи, хлынут знакомые запахи, станут носиться по дому, ударяться о стены и стекла, и он, слушая их слабые шорохи, будет готов разрыдаться.

Письменный стол, полный бумаг, стопок писем, перетянутых цветными нитками, тетрадок с неоконченными воспоминаниями, которые мама читала ему в минуты своей болезни. Он сидел у нее на кровати, сжимал сухую горячую руку, внимал не смыслу, а звуку ее слабого дребезжащего голоса, слыша, как звук удаляется. Хотел его навеки запомнить.

Стройный, из ореха, буфет на гнутых ножках, в завитках и узорах, напоминающий элегантного в шитом камзоле кавалера, был наполнен банками с гречкой, пачками чая и кофе, множеством мелочей, которые мама рассовала по углам буфета, в фарфоровые молочники и кофейники, в перламутровые супницы и сахарницы. И если растворить прозрачные, с нежным дребезжанием дверцы, пахнет старинным настоем пряностей, ванили, корицы, от которых полки буфета стали смуглыми и благоухающими, как сандал.

Книжный шкаф со знакомым орнаментом книг. Старинные, из другой, доисторической жизни, в кожаных переплетах с золотым тиснением, с запахом костяного клея, который вдыхали еще его деда. На нижней полке пухлый, оплетенный кожей фамильный альбом, где собраны картонные, с золотым обрезом фотографии могучих, светлых ликом людей, мужчин и женщин, от которых он ведет свой род, несет на своем лице слабеющий отсвет спокойных их величественных черт, веры в осмысленность бытия, неслучайность появления в мире.

Хлопьянов захотел открыть альбом, но не решился. Встреча с прашурами требовала свежести, избытка сил, а их не хватало перед началом трудного дня.

Он приблизился к зеркалу в старомодной раме, с пролысинами, с толстым замутненным стеклом, в котором дрожала тусклая водянистая радуга. Смотрел на свое отражение. Продолговатое сухое, с запавшими щеками лицо. Узкий сжатый рот. Две резкие складки, сбегавшие к подбородку, в котором, как в яблоке, темнела вмятина. Большой, с остатками загара, перерезанный линиями лоб, под которым не мигая, холодно и отчужденно смотрели серые льдистые глаза. Гладкие поредевшие волосы цвета осенней стерни. Лицо было запаяно в зеркало, как в льдину, и вокруг него чуть мерцали пузырьки застывшего воздуха, рябь замерзшего, залетевшего в льдину ветра.

Хлопьянов старался разглядеть на своем лице черты родового сходства. Обнаруживал их под жестяным налетом. Смеющиеся лица предков были засыпаны пеплом, покрыты окалиной, ржавчиной на его изможденном, отчаявшемся лице.

И вдруг острый, как укол иглы, испуг. Бесшумный взрыв света, расколовший тусклое зеркало. Сквозь брызги льда глянуло детское, счастливое, трепещущее свежестью и любовью лицо. Он мальчик, тянется к зеркалу, изумляется своему отражению, сходству и тождеству с миром. В толстых стеклянных гранях пылает, как умытый росой цветок, сочная радуга.

Вспышка погасла. Стареее жесткое лицо с угрюмым затравленным взглядом.

Предстоящий день он хотел посвятить встречам и поискам. Выброшенный из армии, отторгнутый от разведки, он искал себе применения. Покинув театры военных действий, оставив после себя рваные кромки растерзанной и умертвленной страны, он вернулся в Москву и искал себе места в жизни. У него был опыт разведчика. Опыт аналитика и знатока агентурной работы. Опыт офицера, добывавшего информацию среди горящих кишлаков, заминированных ущелий, красных песков пустыни. Москва была огромным заминированным ущельем, душной пустыней. И он хотел применить свой опыт. С этим опытом он не отправится в Генеральный штаб, где сидят лишенные армии бездельники-генералы, робкие и трусливые, сломленные в бесчисленных предательствах, купленные и запуганные. Он не пойдет к банкирам, к президентам фондов и фирм, окружающих себя кольцом безопасности, формирующим личные разведки и армии. Не пойдет в услужение к победителям, покорившим его страну. Он, лишенный страны и армии, как партизан в глубоком тылу, будет искать себе подобных, не сломленных, не бросивших оружие в болото, не сорвавших погоны, не зарывших ордена. Он пойдет к оппозиции, к ее вождям, и предложит свой опыт. Опыт военного, опыт офицера разведки.

Он готовился к выходу в город, перебирая поименно известных оппозиционных политиков. Планировал разговор в самых деликатных подробностях.

У него оставалось время, и он решил использовать его для осмотра и смазки оружия. Достал из кобуры пистолет. Выложил на письменный стол масленку, шомпол, чистую тряпицу. Стал разбирать оружие на вороненые, тускло сияющие элементы. Бережно закапывал масло в резные сочленения и скважины.

Пистолет был единственной ценностью, которую он привез с войны. Единственным фетишем, который сберег среди разгромленных селений, спаленных мечетей, переполненных моргов. Был памятью и оставался оружием.

Он взял пистолет с бездыханного тела русского летчика, сбитого над Карабахом огнем азербайджанской зенитки. Летчик-наемник взлетел из Армении, пикировал на горные заставы, бомбил переправу, по которой втягивался в бой азербайджанский батальон. Его подбитый самолет «кувыркаясь» падал в долину, а сам он качался под белым пузырем парашюта, и по нему со всех сторон, со всех застав и постов, из проезжавших бэтэров и танков гвоздили из пулеметов и автоматов. Было видно, как входят в него очереди. Набитый пулями, он медленно снижался к горе. Лежал среди белого шелка, истрелянный, с рыжим чубом, без документов, без знаков отличия, летчик преданной армии, нанятый на армянские деньги, погибший на мерзкой войне, где сражались обманутые, направленные друг на друга народы. К убитому летчику сбегались потные злые солдаты, заросшие синей щетиной, готовые терзать и расстреливать бездыханное тело. Хлопьянов отбил пилота, погрузил в кузов грузовика. Катили по горной дороге, рыжий чуб, липкий от крови, болтался по грязным доскам. Хлопьянов снял с летчика пистолет, сунул себе под ремень.

Теперь он чистил оружие, сидя за дедовским письменным столом, выложив на зеленое сукно вороненые детали. Золотистая капля масла протекла сквозь ствол, скопилась у дула, капнула на зеленое сукно. И пока она летела, ударялась о ткань, впитывалась в полуистлевшие волокна, Хлопьянов подумал, – он, мальчик, сидит за столом, раскрыл тетрадку, пишет

круглыми буквами «корова, цветок, луна». И он же, почти старик, щуя угрюмый глаз, чистит оружие. Капля ружейного масла сорвалась с нарезного ствола, пролетела сквозь целую жизнь.

Он собрал пистолет, засунул его в кобуру. Спрятал в лубь гардероба среди материнских платков и платьев.

Он не был вхож к политическим лидерам оппозиции. Нуждался в рекомендациях. Предложения, с которыми он собирался к ним обратиться, были столь деликатны, что ему могли не поверить. Могли заподозрить в нем провокатора, агента спецслужб. Он нуждался в протекции человека, которому безоговорочно верили. И таким человеком был Клокотов, редактор оппозиционной газеты, где выступали все видные противники режима, «красные» и «белые» патриоты, коммунисты и монархисты, объединенные катастрофой. К Клокотову направил стопы Хлопьянов, вспоминая свои с ним встречи в Афганистане, Карабахе и Приднестровье.

В маленькой приемной редактора он слушал, как безостановочно трещит телефон. Раздраженная красивая секретарша то и дело хватала трубку, переносила из одного разговора в другой свое раздражение, отбивалась от бесчисленных, видимо, на одну и ту же тему, вопросов, – о каком-то суде, о показаниях и свидетелях. Из-под двери редакторского кабинета тянуло табаком, лекарствами, кушаньями и чем-то еще, напоминавшем запах ружейной комнаты, смесью металлических и масляных испарений.

– У него сербы! Он просит подождать! – сказала секретарша, хватая в очередной раз трубку, как хватают кастрюльку с убегающим молоком.

Хлопьянов оглядывал приемную, как перед этим изучал коридоры и подходы к редакции. Не находил охраны, изумлялся легкости, с какой проник в святая святых оппозиции. Клокотов был незащищен, подвергался риску нападений и провокаций.

Он вспомнил, как сопровождал Клокотова на досмотры караванов в пустыне. Вертолет со спецназом мерно кружил над песками, над красными пузырями барханов. Темной цепочкой, как рассыпанные семена, возник караван. Заработал курсовой пулемет, останавливая погонщиков. Вертолет опустился, и солдаты прыгали в горячий песок, разбегались веером, охватывали караван. Клокотов, опережая командира группы, длинными скачками бежал к верблюдам, к набитым полосатым тюкам, к оскаленным мордам, к запыленным темнолицым погонщикам. Хлопьянов, держа автомат, пытался догнать журналиста, оттеснить, заслонить, ожидая разящую очередь. Вечером в глинобитной казарме они пили спирт, жарко говорили. Хлопьянов пытался понять, в чем природа этой шальной и безумной смелости, неоправданного невоенного риска. Выходили из саманного дома, разгоряченные стояли под звездами. Слушали высокий ветер пустыни.

Или позже, в Приднестровье, в расположении батальона «Днестр», Клокотов шел во весь рост по узенькой тропке под прицелами снайперов. К реке, к бетонной плотине, сквозь мешки с песком, стальные избитые пулями плиты, за линию обороны. Стоял не прячась над пенной водой, освещенный солнцем. Хлопьянов прикрывал его плечом, чувствовал, как скользит по бровям, переносице, тончайший лучик снайпера, щекотит и жалит лоб.

Или прежде, в Карабахе, где снова свела их судьба. Жили в Степанакерте, в расположении полка. Клокотов уходил в город, подсаживался в машину к армянским боевикам, и те увозили его в потаенные урочища, в горные убежища. Хлопьянов был готов поднять по тревоге бронегруппу, кинуться на поиски друга. К вечеру Клокотов возвращался утомленный, хмельной от чачи. Рылся в блокноте, и на его усталом, красном от загара лице появлялось знакомое шальное выражение.

Теперь, сидя в приемной, Хлопьянов пытался понять природу его безумной, связанной со смертельным риском погони.

Дверь кабинета распахнулась. Вместе с жарким хлопком воздуха вывалилась гурьба черноволосых шумных людей, окруженных табачным дымом и винным духом. Клокотов, гогоча вместе с ними, раздавая последние поцелуи и рукопожатия, напутствовал их:

– Передайте Караджичу, я печатаю его стихи! Брат Радован сказал: «Сербов и русских триста миллионов!»... До встречи в Сараево!

Увидел Клокотова, обнял. Обнимая ввел в кабинет, проводя мимо уставленного бутылками стола, мимо стен с черно-белыми газетными оттисками. Усадил в кресло рядом с хрустальной, переполненной окурками пепельницей.

– Наконец-то я могу тебя принять, могу тебя угостить!

Секретарша убрала со стола, вытряхнула пепельницу. Принесла бутылку коньяка и ломтики копченого мяса.

– Ты здесь, у меня! – повторял Клокотов. – Как я рад тебя видеть!

Хлопьянов осматривал комнату, и хозяин зорко, весело следил за его взглядом, отпуская короткие реплики.

– Этот красный флаг, на который ты смотришь, побывал в космосе на «Салюте». Подарок космонавтов!.. – алое, истрепанное по краям полотнище, с серпом и молотом, висело над рабочим столом. А рядом, на тяжелом древке, полусвернутое, склонилось черно-золотое, имперское знамя, увенчанное двуглавым орлом. – А это принесли монархисты. Вынесем завтра на крестный ход!

В углу висел коричневый смуглый Спас.

– А это дар Православного братства, освящен в Оптиной пустыни. Закопченная танковая гильза украшала подоконник.

– Казачки из Абхазии принесли сувенир!

В хрустальной вазе огненно, ярко краснели тюльпаны, острые плотно сжатые бутоны, готовые вот-вот распуститься.

– А это так, поклонница газеты! – усмехнулся Клокотов, усаживая Хлопьянова за стол. – Давай-ка за встречу!

Пока открывалась коньячная, с приднестровским аистом бутылка, Хлопьянов смотрел в окно, где близкие, далекие, топорщились жестяные крыши, темнели слуховые окна, и лоб, переносица ощутили вдруг знакомое щекотание.словно над бровями ползала крохотная мошка оптического прицела. Он вновь изумился незащищенности Клокотова, не пожелавшего задернуть штору на окне кабинета.

Они чокнулись, выпили, и Хлопьянов, повествуя Клокотову о своих заботах, вспоминал его небритое, воспаленное от ультрафиолета пустыни лицо, саманную стену с трофейной саблей, прислоненные к стене автоматы.

– Все, о чем просишь, сделаю. Позвоню друзьям. Дам рекомендацию. Но на многое не рассчитывай. У каждого из них своя голова, своя мнительность, своя ревность. Впрочем, сам все увидишь!..

Дверь отворилась, и в кабинет вошел высокий светлородый священник в черном до пола подряснике, в бархатной лиловой скуфейке, из-под которой сияли, ласково лучились глаза. Эти лучи продолжали струиться с золотистых пушисто-прозрачных бороды и усов.

Священник от порога поискал глазами, нашел образ Спаса, перекрестился, гибко согнувшись в талии. Клокотов вскочил, радостно шагнул под благословение, и пока целовал длинную протянутую кисть, Хлопьянов вспомнил, – Клокотов, запыхавшись, проныривает под мордой верблюда, ощупывает полосатый притороченный тюк, а в нем, в Хлопьянове, страх, вот сейчас погонщик распахнет балахон, тускло вспыхнет металл, ударит в упор автоматная очередь.

– Отец Владимир, разделите с нами трапезу! – радовался его появлению Клокотов. – Познакомьтесь, – мой друг военный. Тоже нищий духом!..

– Очень рад, – сказал священник, пожимая Хлопьянову руку своими теплыми несильными пальцами. – Почему-то я сразу решил, что вы военный.

Лучистые глаза оглядывали Хлопьянова, и тот почувствовал вдруг удивительное доверие, внезапное облегчение, словно его напряженная ожесточенная воля на мгновение ослабела, и он передал себя во власть этого молодого священника.

– Не стану вас отвлекать, – сказал отец Владимир. – Хочу взглянуть на мой материал в газете.

Клокотов снял со стены тисненый газетный лист, на котором черно и крупно было начертано «Символ веры», и протянул священнику.

– Отче, поверьте, я очень дорожу нашей дружбой. Ваши проповеди находят у читателей глубокий отклик. Ваш призыв к покаянию необходим нашей радикальной газете. Но все же, отче, не слишком ли духовенство увлеклось этой проповедью смирения? Не этим ли оно любезно властям? Власть закрывает оборонный завод и открывает рядом часовню. Распиливает могучий авианосец и реставрирует малый храм. Не прикрывает ли власть церковной ризой свой богомерзкий образ?

– Власть – потому и власть, что желает властвовать. Но не она властвует на небесах и не она – на земле, а ею властвует Бог. Ее деяниями наущаются люди. Стало быть, так Богу угодно, чтобы закрывались заводы, символы мнимого земного могущества, а рядом с ними возносились дома Божий. Ведь сказано старцами, что должно исполниться число крестов на Руси, на могилах праведников и на храмах Божиих. И тогда спасемся!

Отец Владимир держал на весу газетную полосу, и она изгибалась, как свиток в руках пророка. Еще вчера Хлопьянов сердился на Катю, за ее призыв к покаянию. Теперь же священник говорил то же самое, но это не вызывало протеста. В словах священника чудился смысл, добытый из древних колодцев, и хотелось в них заглянуть, в их гулкий глубинный сумрак, и в темной воде увидеть звезду.

– Почему-то с православием связывают только кротость и смирение! – Клокотов, недовольный ответом, загорался, противоречил священнику. – Но мы знаем Церковь Воинствующую, небесную рать с ангелами и архангелами, с грозными небесными силами, подобными пучку лучезарного света! Она одолевает тьму кромешную, повергает твердыню ада! Именно Церковь Воинствующая вкладывала в длань Димитрия Донского карающий меч! Именно она говорила устами Гермогена, патриарха Тихона! Где же сейчас это слово? Где рокот вещих слов, подымающих Русь на битву?

Белый свиток с начертанными письменами сверкал на фоне темных одежд. Глаза священника сияли знанием, добытым из чистейших источников, и он отвечал:

– Бог говорит с каждым из нас в отдельности. Вдыхает в каждое ухо свое особое слово. Одни из нас слышат глас Божий в проповедях митрополита Иоанна. Другие в тихих словах приходского батюшки. Для третьих Бог открывается в знамениях. Эти знамения говорят о близких скорбях земли русской, о продолжении народных страданий.

– Мы, политики, изнемогаем от усталости! – Клокотова не устраивали ответы священника, и он возражал, рискуя быть нелюбезным. – Хотим достучаться до народа, разбудить его, оглушенного, опоенного! Орем до хрипоты на митингах! Изоощряемся в газетных статьях! А церковь, от которой ждем помощи, которая заступница, – молчит! Почему не встает за поруганную честь и совесть? Почему не взывает с амвона?

– Православная церковь может говорить только с православным, воцерковленным народом на языке сокровенных православных святынь. Не языком листовок и митингов, а языком молитв. Для того, чтобы народ услышал церковь, он должен вернуться в лоно церкви. Духовенство, монахи, старцы молятся за Россию перед Господом день и ночь, и если Россия еще стоит и не пала, то лишь благодаря этим немолчным молитвам. Я вам опять говорю, без веры

в Господа у вас, политиков, ничего не выйдет. Опять проиграете, затянете народ в очередную беду. Без Бога на Руси ничего доброго не случается, а только с Богом!

– Пока вы, отче, будете ждать воцерковления народа, народ исчезнет! Его просто уморят. Почему церковь не ополчается на сатанинскую власть? Почему не погонит ее крестом? Почему позволяет кремлевским безбожникам стоять в храме со свечей и иконой на великий соблазн людям?

– В храме всегда бесов больше. Они идут в Божий дом, чтобы осквернить его и испакостить. На Русь пришли бесы. Предстоит ужасная, последняя схватка, и нам всем не уклониться, ни священнику, ни политику, ни военному. – отец Владимир посмотрел на Хлопьянова. – Нам всем придется претерпеть за Россию, придется пострадать за Христа! Но не надо отчаиваться. Ибо кого Бог любит, тому и дает пострадать!

Свиток в руках священника звенел, как фольга, источал тончайший серебряный свет. Полупрозрачная борода, золотистые усы излучали сияние. Он был властен и в то же время кроток. Добр и одновременно непреклонен. Молод и библейски стар. Хлопьянов слушал его проповедь о предстоящих страданиях и вдруг соединил его образ с Катей, с ее рассказом о каком-то отце Владимире, о духовном пастыре. Именно он, этот пастырь, стоял теперь перед ним, и речи, которые он произносил, слышала Катя.

Хлопьянов вдруг испугался. Отдернутая штора, окно. Жестяные ребристые крыши. Слуховые подслеповатые щели. Тончайший луч прорезает пространство, шарит по комнате, скользит по рукам Хлопьянова, по красному, побывавшему в космосе флагу, по плечу Клокотова, по свитку в руках священника. Зажигает крохотную ядовитую каплю на усах. Останавливается на лбу под скуфейкой. И сейчас раздастся звон пробиваемого стекла, и на лбу священника брызнет красная рана, и он станет падать спиной к стене, заслоняясь бумажным листом. Этот страх был столь велик, что Хлопьянов стал подыматься, чтобы оттолкнуть священника, отодвинуть его от окна. Но тот сам отступил и шагнул к дверям.

– Так что же вам подсказывает ваше предчувствие, отец Владимир? – не хотел отпускать его Клокотов. – Что, как вы полагаете, ждет нас в ближайшие дни?

– Не могу сказать. Я не пророк. Но сердце болит, чувствует большую беду, – он повернулся к Хлопьянову: – Вы, я чувствую, переживаете душевную тревогу. Может, я могу вам чем-то помочь? Знаете, сейчас в Москве находится удивительный человек, схимоиеромонах Филателф. Он приехал из Оптиной на лечение. Очень плох, может в любой день умереть. Но духом светел и благостен. Приглашаю вас к нему. Одна встреча с ним может оказаться спасительной.

Он поклонился обоим в пояс. Перекрестил их тонкой щепотью. И Хлопьянову казалось, по комнате скачет, танцует крохотная раскаленная точка.

Они остались одни. Клокотов выпил рюмку, хватая тонкий ломоть копченого мяса. Язвил, негодовал, грозил невидимым, окружавшим его врагам:

– Мрази! Хотят закрыть газету! Видишь ли, будет суд! А я им сказал: «Нас остановит только пуля!»... Так, значит, тебе нужны верительные грамоты? Дам, не волнуйся! – в его лице мелькнуло знакомое Хлопьянову шальное выражение, когда двумя бэтээрами спускались с Саланга, и горячий ветер ущелья приклеивал рубаху к груди, чернели по сторонам остовы сгоревших наливников, и кружил в синева, как малое семечко, вертолет разведки.

В дверь постучали. Вошла, улыбаясь, женщина. Высокая, в длинной юбке, с бело-желтыми волосами, с черными вразлет бровями, под которыми влажно, ярко светились глаза. Ее узкое прелестное лицо, по-восточному красивое и живое, было знакомо Хлопьянову по множеству телепередач, где язвительные репортеры старались ее оскорбить, помещали среди красных знамен и бушующих толп, бесстыдно искажая ее лик в отвратительном пузыре короткофокусной оптики.

– Сажи! – кинулся ее встречать Клокотов. – Великолепная и всегда желанная Сажи!

Он целовал ей руку церемонно и шутливо. В его легкомысленных ухаживаниях были настоящая радость и обожание. Женщина это чувствовала, позволяла целовать руку. Усаживалась, прямая и стройная, расправляя на коленях широкую юбку.

– Милая Сажи, вы знаете, как я вас ценю! – продолжал Клокотов. – В нашей оппозиции много выдающихся, чистых духом людей. Но вы самая светлая, самая благородная и отважная! Позволю себе это сравнение, но вы как статуя на носу нашего оппозиционного корабля. Летите навстречу соленым брызгам, принимаете удары волн!

Они оба смеялись. Хлопьянов видел золоченую резную деву, украшавшую остроконечный корабль. Распущенные волосы, выпуклую грудь, о которую разбиваются зеленые шумные волны. Любовался ими обоими, улавливал на их лицах одинаковое упоение.

– Ваша статья прекрасна. Она служит украшением номера, – Клокотов оглянулся на стену, где висели черно-белые газетные оттиски и сквозила пустота, оставшаяся после ухода священника. – Рядом с вашей другая статья доброжелательно отзывается о Хасбулатове и Руцком. Хотя бы на газетной полосе вы примирились друг с другом!

Она вдруг потемнела лицом. Ее темные брови сжались. На высоком лбу под золотистыми волосами прочертилась линия. Тонкие ноздри затрепетали от быстрого гневного дыхания.

– Они предатели!.. Не говорите о них!.. Они главные виновники и предатели!.. Вы доверяете им, а они предадут вас! Разве вы не помните, как Руцкой обещал вам по телевизору десять лет тюрьмы, когда вы написали «Слово к народу»? Разве вы забыли, что Хасбулатов был главный, кто разрушил Советский Союз! Они сейчас ищут с нами дружбы, потому что их карьера шатается. Они используют нас, а потом предадут! Вот увидите, будет огромное для всех нас несчастье!

– Дорогая Сажи, это в любви и дружбе бывает предательство! – Клокотов, огорченный своим неосторожным высказыванием, старался ее успокоить. – В политике это называется эволюция взглядов, искусство компромиссов. Вчерашние противники эволюционируют в партнеров, союзников.

– Предатели остаются предателями! Судьба их накажет!.. Когда я проводила наш нелегальный Съезд народных депутатов СССР, Хасбулатов травил нас, посылал за нами ОМОН, не давал помещения. Он грозил нам тюрьмой. Когда мы все-таки собрались в подмосковной деревне, в клубе, он велел отключить в помещении свет! Мы провели наш съезд при свечах... Я сказала тогда, – будет день, когда и ему не позволят провести его Съезд, на него натравят ОМОН, и он будет сидеть в черном холодном зале при свечах! Пусть тогда вспомнит меня!.. Я сказала Руцкому: «Если ты грозил патриотам Советского Союза тюрьмой, то будет и тебе тюрьма!..»

Она говорила яростно, уже не Клокотову, а огромному скопищу людей, среди знамен, прожекторов, на сумрачной, туманной от изморози площади. Мегафонный рокот катился над головами, как огромное кованое колесо по булыжникам, к млечному, размытому, словно облако, Манежу. Площадь вздыхала, ахала на каждый ее возглас, держала над собой в пучке раскаленных лучей.

– Когда Горбачев по приказу Ельцина разогнал народных депутатов, я встала у них на пути. «Останьтесь! не предавайте народ! Не предавайте Советский Союз!» А они, потупив глаза, проходили мимо, – боевые генералы, директора огромных заводов, знаменитые писатели, прославленные рабочие. Они знали, что предадут, и все равно уходили! Только Алкснис и Макашов остались. Но нас было слишком мало!..

Хлопьянов жадно внимал. Эта женщина, беззащитная в своей женственности и отваге, искупала тупую покорность и глупость откормленных холуев и чинуш, которых, как баранов, уводили на бойню, и они в своих орденах и регалиях величаво и тупо уводили на убой великое государство. И только она, прелестная беззащитная женщина, встала у них на пути.

– Я сказала Горбачеву: «Вы предатель, Михаил Сергеевич! Сейчас вы разгоняете депутатов, но и вас прогонят! Вы останетесь никому не нужный, всеми презираемый! Вспомните мои слова! „А он мне зло: «Вы сумасшедшая!..“ Ну и где теперь Горбачев? Его ненавидят даже прежние друзья. Он посмешище и позорище! Его еще будут судить, будут казнить страшной казнью! Ибо не было в истории народов предателей на троне, которые отдают врагу свою страну, предают свой народ! Пусть я буду старухой, пусть в рубище, с клюкой и горбом, но я доберусь на этот суд! Буду его судить вместе с народом!..

Хлопьянов остро, до головокружения ощутил ее женственность, ее незащищенность и обреченность среди слепых непомерных сил, сдвигающих континенты, опрокидывающих страны и царства, унося в преисподнюю племена и народы. Тысячи окружавших ее согластатей жадно следили за ней, тянули к ней похотливые руки, стремились ее захватить.

Хлопьянов был готов вскочить, заслонить солнечный квадрат окна, за которым крыши топорщились, как перепонки дракона, чернели слуховые проемы, и в каждом мог вспыхнуть лучик прицела.

Она словно почувствовала его порыв. Улыбнулась, обращаясь к нему, снова милая, очаровательная женщина с соломенно-желтыми волосами.

– У вас всегда хорошие люди, – сказала она Клокотову. – Я к вам прихожу огорченная, раздраженная, и отдыхаю душой. Я вас люблю, – сказала она им обоим. – Вы позволите мне взять газетную полосу, прочитать статью?

Клокотов передал ей шуршащий, с черной графикой газетный лист. Она поклонилась и унесла трепещущую бумагу. Ее уже не было, а в воздухе витал тонкий запах ее духов, золотистый отсвет ее волос.

Они недолго оставались одни. Дверь отворилась, и в нее осторожно, бочком, робко оглядываясь, делая знаки глазами, вошел человек. Он ступал осторожно и мягко, как бы не хрустнул под ногою сучок, не взлетела пугливая птица. Полный, с округлым лицом, в неряшливо надетом костюме, он прошел к столу, как по жердочке, невнятно поздоровался.

– Дорогой Анатолий Степанович, – радостно приветствовал его Клокотов, и это громкое, с упоминанием имени, приветствие отозвалось испугом на лице человека. – Искал вас по всем телефонам! Наверное спрятались?... Ваша статья на выходе. Вы обязательно должны ее посмотреть. Уж больно деликатная тема.

– Я предпочитаю не подходить к телефонам. Мне кажется, они все прослушиваются. Сейчас, когда к вам шел, за мной увязались какие-то два подозрительных типа... Мне нужно с вами поговорить, доверительно... – вошедший мигал влажными бледно-синими глазами и подозрительно смотрел на Хлопьянова.

– Это мой друг, брат! – успокаивал его Клокотов. – Он знает все, что знаю я. Он может помочь и советом, и делом. Говорите при нем!

Человек успокоился, подсел к столу. Клокотов представил его:

– Это наш замечательный физик, разработчик «пучкового оружия». Лауреат Ленинской премии... Рюмочку коньяку, Анатолий Степанович?

Физик испуганно замотал головой, обвел глазами комнату:

– Вы проверяли комнату? У вас здесь можно разговаривать?

– Все мои секреты я публикую в газете. И главный из них в том, что я ненавижу Ельцина! – Последние слова Клокотов прокричал во все углы комнаты, как если бы там были установлены подслушивающие устройства, и он доносил свою ненависть до главного осведомителя.

– Вы должны знать, – продолжал физик полупшепотом, с мучительным недоверием к самому воздуху, в котором разносились слова. – Вы – единственный человек, которому я доверяю... Я унес из института мои секретные записи, формулы, характеристики, итоги лабораторных испытаний... Мы опередили американцев на десять лет... Есть уникальные открытия...

Я не хочу, чтобы они попали в руки противника... Новый директор – масон, демократ. Уже приводил в институт офицеров ЦРУ!.. Отдает им секреты... Я унес мои секреты с собой, и хочу, чтобы вы знали, где они хранятся... Если меня убьют, вы возьмете тетради...

Он притянул к себе лист бумаги и, прикрывая его ладонью, чтобы не увидел Хлопьянов, что-то быстро писал и чертил. Видимо, адрес тайной квартиры, расположение мебели в комнате, тайник, где хранились документы. Передал Клокотову, с облегчением выдохнул, словно скинул груз, переложил его на другого.

– Если меня убьют, вы возьмете эти бумаги и отдадите правительству, когда в него вернутся патриоты. Будущей России, у которой отняли оборону и армию, потребуется сверхмощное оружие, чтобы выиграть время на восстановление. Мы не можем допустить, чтобы враг распоряжался этим оружием...

Хлопьянов смотрел на пугливого человека, который обладал государственной тайной, добытой на ядерных полигонах и космических станциях. Он служил своему государству, находился в этом служении высший смысл и тем был похож на Хлопьянова. Теперь, когда государство валялось в обломках, он вытаскивал из-под этих обломков крупички, спасал их для будущего. Он был похож на муравья, уносившего из растоптанного муравейника драгоценную живую личинку, чтобы спасти свой род и продолжить в будущем жизнь. Все они оказались под обломками громадного упавшего купола. Выкапывали из-под него осколки мозаик и фресок, остатки великого целого, чтобы в будущем сложить воедино.

– Я не могу дотянуться до Кремля, где засел предатель!.. Не могу дотянуться до МИДа, где укрылся слюнявый мерзавец!.. Ни до кого не могу дотянуться!.. А они до меня дотянулись... Их телевидение до меня дотянулось!.. Каждый день, в каждом доме начинается пытка, в которой пытаются миллионы людей!.. Оскорбляют, лишают воли, навешивают бреды, парализуют сознание, внушают мании... Ссорят детей с отцами, растлевают девочек, оскверняют святыни... Целая культура пыток, которой не знало средневековье... «Останкино» – огромная пыточная камера. Те люди, которые приходят протестовать к «Останкину», – это не вынесшие страданий!.. Они все в ожогах, переломах, порезах!.. И вот что я вам хочу предложить...

Хлопьянов чувствовал свое с ним родство. Он тоже был отравлен мучительными ядами, гулявшими в крови. Эти токсины обжигали нервные центры, меняли биоритмы. Действовали, как наркотик, заставляя помимо воли несколько раз на дню включать телевизор. Погружали зрачки в голубоватую муть, из которой выплывали отвратительные монстры, туманные чудовища, образы ада. Превращали сознание в кошмар, в наваждение. Опустошали разум в течение десяти минут, высасывали живые впечатления и мысли, наполняли дымом страдания. Он выключал телевизор, пребывая в обмороке. Несколько часов задыхался и корчился, наглотавшись ядовитого зелья.

– Мы не можем штурмовать «Останкино»! – продолжал физик. – Я ходил туда вместе с Анпиловым. Нас расстреляют в упор... Мы не можем упротестовать преступников прекратить пытку, допустить на экраны русских писателей и артистов... Но мы можем заставить их замолчать!..

Он втянул голову в плечи, как пингвин. Обвел глазами углы, потолок, убеждаясь в том, что в стенах нет ушных раковин.

– Мы можем их заткнуть!.. Я могу сконструировать квантовый генератор, который одним импульсом выведет их из строя!.. Мы подкатим грузовик в район башни, генерируем одноразовый импульс, и у них сгорят все тонкие блоки, и они умолкнут!.. На месяц, на два, пока не произведут им замену!.. Для этого мне нужен один миллион! Помогите мне достать миллион!..

Он опять рисовал на листе устройство генератора. Чертил подъездные пути к Останкинской башне. Место, где он установит грузовик. Глаза его горели, щеки покрылись румянцем. Он не был беззащитной гонимой жертвой. Был борец, партизан, народный мститель.

Хлопьянов любил его, чувствовал свое с ним родство. И вдруг ощутил укол иглы в сердце, тончайшую боль и страдание. Этот тучный, похожий на большого ребенка физик был беззащитен. На него сквозь стены и окна были направлены окуляры, микрофоны подслушивания. Его замыслы были известны врагу. Он был уязвим. Уже шарила, скакала по чертежу, по пухлым рукам крохотная огненная точка.

Но тот не замечал и витийствовал:

– Мы победим!.. Россия победит!.. Высший разум России победит!.. Ноосфера, где присутствуют энергии, питавшие Россию тысячи лет, выстоит перед напором антимира!.. Энтропия невозможна!.. Сегодняшняя катастрофа России – это наш вклад в мировую победу над энтропией!.. Мы все – борцы с энтропией!..

Клокотов поощрял его, любовался им. Созерцал прозрачные, окружавшие планету пространства, где, как духи, витали образы тысячелетней России, хранили ее от гибели.

Снял со стены газетную полосу, протянул физику. Тот бережно принял, словно стяг, готовый поцеловать край трепещущего полотнища.

Нашел на полосе свой материал. Близоручко сощурил глаза, в которых вновь появился испуг.

– Только прошу под псевдонимом, без имени... Как вы обещали... Они могут вычислить... Я посмотрю, чтоб следов не осталось...

Поднялся и, неся полосу, пошел из кабинета, тем же путем, по стенке, словно именно там была проложена узкая безопасная тропка среди минных полей.

И минуты не просидели вдвоем. В кабинет вошел человек в драных джинсах, в грубых рабочих бусах, в черном матросском бушлате. Из-под зеленого полувоенного картуза блестящие темные очки. Пальцы, поправлявшие металлическую оправу, были украшены черным перстнем. Он вошел небрежно, но, несмотря на нелепое неряшливое облачение, в нем чувствовался едва уловимый маскарад. Его обветшалое одеяние, если хорошо приглядеться, было умело подобрано из прочных тканей с дырами и прорехами на тщательно выбранных местах. Так одевается актер в бутафорский костюм, сшитый театральным портным специально для роли.

Клокотов, чуткий к своим посетителям, – смиренно, с благоговением подходивший под благословение священника, галантно целовавший руку очаровательной женщине, внимательно, как врач, внимавший пугливому физику, – Клокотов весело, по-петушиному встрепнулся и озорно воскликнул:

– Это ты, Фрэдичка! – он раскрыл объятия вошедшему, но не принял его в эти объятия, а лишь поместил в большую воздушную сферу, заноса его вместе с этой сферой в комнату и усаживая за стол. – Узнал о твоём прибытии из Парижа по крупному скоплению панков в местах традиционного спаривания и по нескольким ярким скандалам в бульварной прессе!.. Наконец ты пришел ко мне!

Хлопьянов пристально наблюдал за вошедшим. Здесь, в кабинете редактора, ему открывалась возможность наблюдать и исследовать тех, кого принято называть оппозицией. Он явился в Москву, как на другую планету, где существовали иные законы, действовали иные люди, – в казармах, штабах, в местах агентурных явок, – и теперь погружался в неизведанный мир. Задача, которую он поставил, требовала изучения этого мира, особей, его населявших. Кабинет оппозиционной газеты был уникальной лабораторией, где он ставил свои первые опыты.

– Вы напрасно мною пренебрегаете! – Фрэдичка с порога стал упрекать Клокотова, продолжая какой-то прежний, неизвестный Хлопьянову спор. – Я приведу вам самый яростный взрывной оппозиционный контингент, – панков! Вчера вел рок-концерт, на который притащились все московские панки. Три тысячи парней забаррикадировали улицы, швыряли в трамваи

камни, разнесли в щепки Дом культуры. И все под ультрапатриотические лозунги! ОМОНу пришлось палить в воздух!.. Ваша оппозиция – постная, битая молью! Она в партийных сюртуках или в подряснике! От нее пахнет обкомовской парикмахерской или церковным ладаном! А я могу бросить в ваше болото гремучую смесь анархизма и рок-культуры! Он был хрупкий, подвижный, с точными движениями маленьких чистых рук. Хлопьянов представлял его в пучке синеватого ртутного света среди гроыхающих музыкантов, окруженного ревом, белым пламенем, металлическим дымом, в котором колыхалось множество поднятых рук, и все они славили хрупкого, в черном бушлате и истрепанных джинсах кумира.

– Я вернулся из Парижа в Москву! Мне абсолютно ясно, здесь, в России, не в тухлой Европе, а в Москве, назревает возможность долгожданного национального взрыва! Энергия оскорбленной нации рванет взрывом, разнесет в клочья систему! Россия, – это зияющая брешь в мировом порядке. Из этой пробоины величиной в шестую часть света в мир ворвется хаос! Благословенный русский хаос! Я владею способами управления хаосом! Предлагаю вам этот метод!

Хлопьянов воспринимал его как произведение искусства. Загримированный под матроса актер не был политиком. Но вносил в политику дымный мерцающий конус лучей, в котором бурлила, кипела плазма разрушения, проедавшая все жесткие конструкции и формы. Если ее сфокусировать и направить, эта плазма станет сверхмощным лучом, способным разрушить систему. Еще недавно этот лазер, попавший в руки врагов, жег и крушил одряхлевшие двутавры державы. Теперь появлялась возможность развернуть его в сторону противника, сжечь его. Человек в бушлате с черным перстнем на белой руке владел боевым искусством. И задачей политиков было найти ему точное место, встроить в ряды оппозиции.

– Когда я воевал в Боснии под Сараево, я ходил в атаку! Знаю, что такое очистительный восторг атаки! Пограничная черта в душе, за которой – ослепительное «ничто»! Зеленая гора, луч солнца сквозь дубы, прямо тебе в глаза, ты бежишь на гору и знаешь: сейчас ты превратишься в ослепительное «ничто»!.. Осенью Москва покроется баррикадами! Я приведу на эти баррикады десять тысяч панков. Они под музыку, не обращая внимания на ваши хоругви, на дубины и автоматы ОМОНа, будут отстаивать свое ослепительное «ничто»!

А у Хлопьянова в который уж раз – повторение ошеломляющего чувства беспомощности. Этот артистический, владеющий словом и жестом человек, еще наполовину иностранец, помещенный в пятно прожектора, был весь на виду, был мишенью. Крохотное пятнышко смерти буравило его лоб под картузом, дужку очков, лацкан бушлата. Искало место, куда лучше и вернее вонзить острие.

– Ну я пойду, – прощался Фрэдичка, снимая со стены газетную полосу. – В машине меня ждет подруга. Она не может ждать слишком долго, с ней случается истерика. С тех пор, как я отнял у нее наркотики, она не может находиться одна... Приходи в варьете! – он пожал руку Клокотову. – Она будет петь ночью обнаженная. Она талантливая шансонье и отличная фотомодель. Но не может оставаться одна.

Вышел, слегка кивнув Хлопьянову, оставляя после себя искрящуюся пустоту, которая секунду оставалась незаполненной.

Наконец, им было суждено остаться вдвоем. Они сидели за столом с остатками трапезы. Между ними в вазе стоял букет тюльпанов, плотные остроконечные бутоны, красно-золотые, на сочных стеблях. Хлопьянову казалось, вокруг букета разливается прозрачное зарево.

– Я дам тебе рекомендации ко всем оппозиционным вождям, – Клокотов погружал лицо в прозрачное, исходящее от цветов сияние. – Ты пойдешь к «левым» и «правым». К коммунистам и монархистам. Все они встретятся с тобой, будут откровенны и искренни. Но боюсь, они не смогут воспользоваться твоими услугами. Состояние их партий и движений таково, что они не способны создать современные аналитические центры, структуры безопасности и контрраз-

ведки. Ты столкнешься с риторикой, с завышенным самомнением, с политическим театром вместо политической стратегии. Я их ценю, преклоняюсь перед ними. Все они – яркие люди, самоотверженные патриоты. Но они не в состоянии воспользоваться твоим опытом кадрового офицера разведки.

Хлопьянов старался понять и запомнить. Сопоставлял услышанное с тем, что увидел в этом кабинете, куда являлись оппозиционеры. Как манекенщицы, они поворачивались перед ним, показывая каждый свое одеяние, свой жест и свой силуэт. И он изучал их коллекцию, их стиль. Клокотов был частью этой коллекции, и его наблюдал Хлопьянов.

– Но ведь вас истребят! – воскликнул Хлопьянов. – Вас перестреляют по одному или заманят в ловушку всех вместе! Выставят на посмешище или сделают чудовищем! Вас переигрывают, ибо о каждом из вас все известно! Ваши досье, ваши психологические портреты введены в компьютеры! Ваши митинги и конгрессы пропущены сквозь фильтры аналитиков! Вас будут вести каждого в отдельности и всех вместе, пока не приведут в яму! Нельзя бороться с противником, который разрушил великую страну, крупнейшую армию, талантливейшую разведку, – нельзя с ним бороться с помощью транспарантов и мегафонов! Нужна структура безопасности. Я готов ее создать, привести в нее опытных специалистов разведки!

– Быть может, ты прав, и нас выбьют! Иногда я почти уверен, что выбьют! Сажусь по утрам в машину, поворачиваю ключ зажигания и жду, что взорвусь! Я нашел в моем кабинете два подслушивающих устройства, не исключая, что все мои переговоры и встречи становятся известны врагу! Жду сквозь окно выстрел снайпера! Но я заставляю себя не задерживать шторы, заставляю каждое утро садиться в машину! Если нервы сдадут и я струшу, все покажется вниз!

Глаза Клокотова сжались в темные щели, в которых зажглись золотые точки, – отражения стоящих в вазе цветов. Хлопьянов узнал выражение яростного отчаяния, как тогда на Саланге, когда рвались и взбухали цистерны, выпрыгивал из кабины водитель в смоляном огне, пули чертили по обочине дымную дорожку, и Клокотов по пояс в люке жадно смотрел, как медленно, словно горящий стог, обрушивается в пропасть, разваливается на куски наливник. То же выражение отрешенного восторга было теперь на его лице.

– Что тобой движет, если уверен, что тебя прибьют? Что заставляет действовать, если знаешь, что разгромят?

– Когда в Отечественную окружали дивизию в лесах и болотах, начинали сжимать кольцо, бомбить авиацией, расстреливать артиллерией, одни кричали: «Нас разгромили! Идем сдаваться!» – бросали оружие, шли сдаваться и их, безоружных, убивали... Другие говорили: «Нас разгромили, все безнадежно, поэтому будем сражаться до последнего!» – сражались, умирали, но некоторые прорывали окружение и выходили к своим... Я принадлежу к последним! Я действую как бы уже после конца света! Как будто меня уже убили! Но это делает меня бесстрашным!.. Моя задача, задача моей газеты, – продемонстрировать людям бесстрашие!.. «Вы нас разгромили, – кричим мы врагам, – но мы вырвали чеку у гранаты и идем во весь рост!»

Он жарко дышал, улыбался длинной улыбкой. Его узкие глаза золотились звериными точками. Хлопьянов увидел, как от его дыхания, от его яростных слов один бутон стал медленно распускаться. Обнаруживал свою черно-алую сердцевину. Раскрылся, трепетал у его лица, словно из букета донесся бесшумный ответ на его откровения.

– Вижу впереди большие испытания! Непомерные траты! Будут несчастья, будут аресты, казни, пытки! Здесь, в Москве, у наших очагов и порогов! Но мы дали обет бесстрашия, и люди услышали наш обет, смотрят на нас своими заплаканными глазами!

Еще один бутон бесшумно лопнул, раскрыл алое пульсирующее лоно. Потянулся к его губам, зрачкам, близкому горячему лбу.

– На всех, кто в час беды не сдался, не пал перед врагом на колени, не пошел в услужение, в унижительный плен, – на всех благодать! Отец Владимир, которого ты видел, говорит: «Грядет пора новомучеников! Их жертвой спасется Россия!»

Хлопьянов слушал друга, страдал, восторгался. Находил свое с ним сходство, родство. Видел их общую незащищенность, обреченность. Любил их всех, был готов разделить их долю.

Внезапно один из бутонов, близко от его губ и зрачков, шевельнулся, стал раскрываться, направлял в него ало-золотые, излетающие из сердцевины лучи.

Они сидели, два товарища, два солдата великой разгромленной армии. Два несдавшихся бойца. И огромный красный букет пламенел перед ними.

Глава четвертая

Хлопьянов заручился рекомендациями Клокотова и первым, кого хотел посетить, был лидер российских коммунистов. «Генсек», – так в шутку или в целях конспирации называл его по телефону редактор. Тот назначил встречу, и Хлопьянов обдумывал предстоящую беседу, старался угадать сущность человека, которому собирался вручить свой боевой и разведывательный опыт, свою судьбу или даже жизнь.

Встреча предстояла не в сумрачно-сером, чопорно-старинном здании Центрального Комитета на Старой площади, над которым когда-то развевался красный флаг государства, перед фасадом расхаживали зоркие соглядатаи, посетители робея отворяли огромные тяжелые двери, подкатывали непрерывной чередой черные лакированные лимузины, и в каменных теснинах, среди бесконечных коридоров, в высоких кабинетах день и ночь, как трудолюбивые муравьи, работали прилежные аппаратчики. Вырабатывали таинственное вещество, склеивающее воедино огромную страну. В глубине этого величественного муравейника жила, дышала, наливалась соком, оплодотворялась сокровенным знанием хранимая муравьями матка – Генеральный секретарь партии.

Ничего этого больше не было, – ни красного флага, ни здания с золотыми буквами, ни трудолюбивых сосредоточенных муравьев. Генсек руководил остатками разгромленной партии, был лишен государственной власти, денежных средств, резиденции. Назначил Хлопьянову встречу в подвальчике, где ютилась чахлая организация ветеранов. Располагая временем, Хлопьянов кружил в окрестностях подвальчика, обдумывая, с чего начнет свою беседу с Генсеком.

Он шел переулками в сторону Новодевичьего монастыря, желая хоть на минуту увидеть бело-розовые стены и башни, волнообразные золотые купола. В детстве мама водила его к Новодевичьему, указывала маленькой узорной vareжкой на темные бойницы, где когда-то на замороженных балках висели казенные стрелы, и царская узница отрешенно смотрела на малиновую московскую зарю.

Он шагал в негустой толпе по блеклым переулкам. И вдруг почувствовал подобие легкого беззвучного сотрясения. Словно дрогнуло и слегка исказилось пространство, зарябил прозрачный воздух. Люди попали в невидимое силовое поле, словно где-то за домами заработал огромный магнит. Убыстряли шаг, втягивались в движение, торопились с напряженными лицами, вслушиваясь в далекий, их зазывавший звук.

Хлопьянов почувствовал, как и его пронзила невидимая силовая линия, потянула в узкую горловину. Стиснула, втокнула в разгоряченную кипящую толпу, повалившую вдруг, как горячий гудрон, из соседних улиц, из метро, из автобусов. Люди свивались, скручивались в тугую смоляную жгут, и их, как канат, протягивало сквозь бетонный желоб.

Люди шли плотно, плечом к плечу, голова к голове. Были построены чьей-то невидимой волей. Каждый держал в руках какой-то предмет, какой-то знак или символ, отличавший его в толпе, указывающий на его роль и значение. У одного был дамский сапог. У другого мужская шляпа. У третьего прозрачный бюстгальтер. Кто-то нес шубу, или видеокассету, или стакан с наклейкой, или флакон духов. Каждый держал свой предмет так, что казался подставкой для этого предмета, живой витриной, нес на руках маленького царька. Так в древности рабы несли на руках своих повелителей, напрягаясь, торопясь, стараясь неосторожным толчком не потревожить, не разгневать владыку. А тот выглядывал из узорных носилок, погонял прилежных рабов. Эти невольники были взяты в плен на какой-то неведомой Хлопьянову войне. Отлучены от любимых и близких, от привычных занятий. Проданы на невольничьих рынках в руки хозяев и теперь угнетенно и покорно, не помышляя о бунте, служили. Один проносил нарядную майку с изображением обезьяны и пальмы. Другой – перламутровый транзистор. Третий – коробочку с жвачкой.

Хлопьянов был затянут в это торопливое шествие, сдавлен со всех сторон. Утратил свою отдельность, самостоятельность и свободу. Стал малой частью огромной разношерстной толкучки.

Предмет, который выставлялся напоказ на живом штативе, был не просто предмет, а магнит, излучавший мгновенный притягивающий импульс. На этот импульс откликнулся пробежавший покупатель. Впивался зрачками, вздрагивал, тянулся на целлулоидный блеск нарядной погремушки, на кружево прозрачного женского белья, на расписной фарфор чашки. Соседний предмет на соседнем штативе тут же излучал отвлекающий импульс, переключал на себя внимание покупателя, и тот переступал дальше, попадал в магнитное поле ночной вазы или набора зубных щеток. Дуга неподвижных продавцов, мимо которых торопился поток покупателей, напоминала обмотку огромного циклотрона, где бежала и пульсировала электромагнитная волна, захватывая людей, как частички, стреляя ими, проталкивая сквозь жерло. Частички были не в силах остановиться, летели непрерывным мелькающим пучком, перемещаясь от батистового платья к пластмассовой крышке унитаза, от капронового ремня американского морского пехотинца к коробочке с презервативами. Хлопьянов был вовлечен в эту магнитную волну. Был частичкой, чувствовал подгоняющие его толчки и магнитные импульсы.

Он всматривался в лица продавцов. Их похожее на торшеры тела, протянутые руки казались одеревенелыми, но лица оставались живыми. Глаза умоляли, вопрошали, заискивали. Ловили другие, пробежавшие мимо глаза. Возникла искра, короткое замыкание. Вся толкучка искрила, словно перегорали бесчисленные проволочки и контакты, и под ноги бегущих осыпался бесцветный металлический пепел.

Он хотел понять, кто оказался среди торговцев. Кого захватили в плен, запечатали уста, лишили имени, превратили в неподвижные живые подставки для маленьких экзотических предметов. Среди пожилых изможденных лиц он угадывал состарившихся, покинувших сцену московских актеров. Уволенных профессоров, чьи кафедры и лаборатории оказались закрытыми. Чтобы заработать на хлеб, на издание крохотной, с сокровенными исследованиями монографии, они продавали пуговицы, дамское белье, зажигалки. Здесь были пожилые военные в штатской, неловко сидящей одежде, чьи полки, батареи и эскадрильи уже расформированы, проданы, выброшены на свалку. Без дела, без смысла, взятые в плен без единого выстрела, спрятав свои ордена и погоны, выставленные на посрамление пощадившими их жизни врагами, они смотрели умоляющими глазами, протягивая кто женскую туфлю, кто надувную игрушку.

Среди выцветших стариков виднелись и молодые. Но и в них было стариковское смирение, терпеливое ожидание малой удачи, надежда на случайный успех. По виду они могли быть студентами или теми, кто недавно ушел из студентов, покинул университеты, институты, военные училища. Не захотел стать ученым, космонавтом, геологом, открывателем законов физики, месторождений урана и нефти, а предпочел стать мелким торговцем. Их больше не интересовало покорение океана и тундры, строительство городов в Сибири. Их больше не влекло на ледоколы, подводные лодки и космические станции. Они начинали свое маленькое торговое дело, отправлялись в Китай или в Турцию, возвращались с тюками, набитыми рухлядью и дешевой мелочью, откупались от таможни и рэкеты и, торгуя на толкучке матерчатыми обезьянами, сколачивали капитал. Эти молодые люди умертвили и задушили в себе советских Королевых и Гагариных и теперь пытались превратиться в торговых ловкачей и дельцов.

Хлопьянов перемещался, понукаемый толчками и окриками. Шаркали ноги, кололи локти, теснили спины. Пахло дымом, – где-то рядом на мангале жарили мясо. Пронзительно, едко играла азиатская музыка, – какой-то кавказец крутил магнитолау. Хлопьянов вдруг вспомнил Кабул, огромный, пестрый грязно-нарядный рынок с затейливыми вывесками дуканов, горбоносими торговцами, чьи смысленные чернявые лица виднелись за горами груш и яблок, россыпью корицы и чая. Рынок, древний, первобытный, с криками ишаков, воплями зазывал,

растянул и развесил свои шатры, балаганы, как флот, приплывший в центр Азии, в трепете парусов и нарядных флагов. Он, разведчик, поджидая связника, в азиатской хламиде, в рыхлой чалме, прятался в крохотной лавчонке торговца птицами. В деревянных клетках скакали перламутровые и золотистые птахи, пойманные в кабульских садах. Рядом в узком проулке валила разгоряченная, разноликая азиатская толпа. Мясник, растолкав плечами влажные белорозовые туши, сажал на отточенный крюк отрубленную баранью голову.

Это видение посетило его на московской толкучке, породило ощущение тоски. Москва, столица небывалой цивилизации, на которую то с ужасом, то с любовью взирала земля, превратилась в азиатский торговый город. Закрывала свои театры, библиотеки, факультеты искусства и науки. Открывала огромную, набитую дешევкой толкучку. Сливалась с Кабулом, Аддис-Абебой, Пномпенем.

Это и было поражение. Это и была оккупация. Без ковровых бомбежек, полевых коммундатур, расстрельных рвов и газовых камер. Его страна, ее драгоценности, ее величие, ее наивный и грозный лик, ее таинственное, как смугло-золотой иконостас, прошлое, ее слепящее, как полярное солнце, будущее, – все превращалось в хлам, перерабатывалось в мусор, распылялось в сор, в дешевку, в конфетти нарядных ярлыков и наклеек, в неоглядную свалку, над которой кружило, как огромный черный рулет, воронье.

Он заглядывал в лица. Старался найти в них отклик своим состояниям. Угадать в них ужас, ненависть, энергию отпора. Но лица были одинаково тусклые, с лунными тенями, посыпаны холодным пеплом погасшего и остывшего солнца. Все были опоены одним и тем же ядовитым отваром. Окурены одним и тем же наркотическим дымом. Шли, как в бреду, все в одну сторону, словно невольники, прикованные к грохочущей колеснице, на которой восседал яркий, глазированный, как импортная сантехника, повелитель.

Уцелевший воин, решивший дать бой губителям Родины, он не сможет найти здесь товарищей, не соберет ополчения, не созовет партизанский отряд. Никто из этих окуренных и опоненных людей не возьмет трехлинейку, не кинет гранату, не наклеит на стену листовку.

Так думал Хлопьянов, проходя мимо пожилого и крепкого, по виду старшего офицера в отставке, держащего на растопыренных пальцах женский бюстгальтер.

Он понимал, это не просто толкучка, не просто распродажа и скупка. Здесь, как на фабрике отходов, истреблялась целая эра, к которой он сам принадлежал. Ломался вектор истории, в котором он двигался и летел. Здесь, как в огромном крематории, сжигалось навсегда нечто великое, незавершенное, чему не суждено было осуществиться, и лицо этого таинственного, исчезающего покойника несло в себе черты и его, Хлопьянова. Скрывался на глазах под грудами мусора и отбросов фасад недостроенного храма, и будущий археолог, разгребая перегной и отбросы, вдруг наткнется на хрустальный фрагмент Днепрогэса, обломок статуи Мухиной, титановое сопло «Салюта».

Работник, который совершал истребление, был невидим. Был удален в бесконечность. Его могучие крушащие руки дотягивались из космоса, доставали из-под земли. Он был недоступен для Хлопьянова, неуязвим для его удара. Повелевал народами, управлял странами, распоряжался ходом истории.

Здесь, на московской толкучке, он присутствовал в виде целлулоидного флакона с шампунем, картинки с изображением девицы, дешевого бисера на женской блузке.

Хлопьянов страшно устал. Был опустошен. Его жизненных сил не хватало на борьбу с пустотой. Его кинули в огромную лохань, где шло гниение, совершался распад, действовала химия разложения. И он чувствовал, как растворяется в этих кислотах и ядах.

В шпалере торговцев, среди развратных картинок, меховых шуб и коробочек с макияжем стояли три монашки. Они держали шкатулки с прорезью, выпрашивали подаяние на храм. Начинали петь тусклыми жалобными голосами. На шкатулке горела свеча. Пьяный милици-

онер, ошалевший от многолюдья, обилия денег, сладкого дыма жаровен, что-то невнятно и радостно булькал в рацию, пялил голубые глаза на монашек.

Впереди, куда, подобно реке, неслась толпа, что-то взбухало, клокотало, клубилось. То был океан, куца впадала река, – огромный вещевой рынок, заливавший, как лава, окрестные площади, улицы, скверы. И из этого смоляного варева, как тонущий, накрененный корабль, выглядывал шпиль университета.

Хлопьянов, как утопающий, из последних сил, вялыми бросками и взмахами, выбирался из водоворота. Уходил из стремнины, цепляясь за обшарпанные разбитые доски какого-то забора, как за обломки, оставшиеся от кораблекрушения.

К назначенному времени он явился в подвальчик. Спустился по сумрачным ступенькам и оказался в полутемном зале с рядами обшарпанных кресел, в которых густо, вцепившись в подлокотники сухими пальцами, сидели ветераны. Шелестели блеклыми голосами, шаркали стоптанными подошвами, поблескивали очками и лысынями. Иные выстроились в уголке в редкую очередь, шелестя бумажками, платили членские взносы. Держали одинаковые красные книжицы, отдавали руководителю деньги, получали в книжицу чернильный штампик, удовлетворенно его разглядывали. На невысокой тумбе, накрытой бархатным малиновым покрывалом, стоял огромный, под потолок, бюст Ленина, занесенный сюда, в тесноту подвала, из какого-то другого, просторного, теперь не принадлежавшего им помещения. В подвальчике было душно и сыро, пахло канализацией и известкой, – то ли от протекавшего потолка, то ли от выбеленного бюста.

Хлопьянов сидел в сторонке, наблюдая собравшихся. Здесь были совсем старики, костлявые, иссохшие как мумии, с запавшими невидящими глазами. И те, что помоложе, оживленные, нетерпеливые, бойкие.

С палками и костылями, похожие на пациентов травматологического пункта. И бодрые, то и дело вскакивающие, теребящие своих сонных соседей. Были женщины с голубоватыми белыми буклями, с неистребимым женским кокетством. Мужчины с голыми черепами или редкими прядками, молодящиеся, ухаживающие за дамами. Многие были с орденскими колодками, в опрятных, заглаженных до блеска, когда-то парадных костюмах.

Это были несдавшиеся старики, обманутые вероломными вождями партийцы, которые не разбежались после случившейся с государством беды. Не сожгли свои красные книжицы. Не отнесли в торговые лавки ордена и медали. Уберегли от поношений и скверны бюст своего вождя. Спустили его под землю, в свою подпольную молельню. Собрались на катакомбную встречу, поддерживая друг друга, вдохновляя, сберегая слова и символы своего священного учения.

Это были старые хозяйственники, фронтовики и чекисты, руководители заводов и научных институтов. Серьезные, спокойные, они решили дожить свой век по законам и заповедям своей прежней веры. Напоминали экипаж затонувшей подводной лодки, собрались в последний, еще не затопленный водой отсек, предпочитая умереть здесь, всей командой, не всплывая на поверхность, где ждет их торжествующий враг. Они усаживались в старые откидные кресла, ставили между колен костыли и палки, шуршали газетами, кашляли, переговаривались выцветшими голосами. Ждали своего вождя, желая посмотреть на человека, не бросившего партию в час катастрофы.

Генсек появился в подвальчике без опоздания. Пронес в тесноте свое сильное, широкое тело, крупную лобастую голову. Прошагал прямо на сцену под бюст, плотно уселся на поставленный стул. Ему хлопали, тянули к нему шеи, двойные окуляры, слуховые аппараты. Рассматривали, оглядывали, и Хлопьянов вместе со всеми, – старался понять сущность человека, которому собирался служить.

Генсек прошагал, широко расставляя ноги, был похож на матроса, привыкшего упирать стопы в шаткую палубу. Мгновенно, перед тем как поставить ногу, определил устойчивость и надежность поверхности, и лишь потом оперся на нее всей тяжестью. Эта осторожность импонировала Хлопьянову, вызвала на ум матросскую песню «Раскинулось море широко», внушала доверие к Генсеку.

На крупной лысеющей голове Генсека важен был лоб, выпуклый, огромный, с буграми и струящимися живыми складками. Он видел этим лбом, как куполом, за которым скрывался радар. Наводил его в сторону, где возникал сигнал опасности и тревоги. Лоб был защитной оболочкой, бронированной крышкой, под которой, как в командном пункте, надежно разместились системы управления и ведения боя. И это тоже импонировало Хлопьянову.

Под кустистыми бровями синели глаза – зоркие, умные, взиравшие иногда насмешливо, иногда печально и чутко, иногда почти неуверенно. В этих глазах не было фанатизма, но упрямая сосредоточенная пытливость, делавшая его чем-то похожим на агронома или сельского учителя, для которых существовали нескончаемые заботы и не было конечной награды за труды, а только смена этих круглогодичных трудов.

Рот у Генсека был крупный, форма губ говорила о наличии воли, о стремлении управлять, превосходствовать. О способности подавлять собственные влечения и страсти, которые отвлекали бы от главного дела. Но в этих губах, в их мягких вяловатых углах все же проскальзывала едва заметная неуверенность, зависимость от чужого мнения, стремление во что бы то ни стало понравиться. И это настораживало Хлопьянова, бросало на Генсека легкую тень недоверия.

– Мне бы хотелось поделиться с вами, товарищи, взглядами на социально-политическую обстановку в стране. Высказаться о задачах партии по преодолению глубочайшего системного кризиса!..

Генсек произнес эти фразы густым плотным голосом со спокойной уверенностью знающего человека. Эта уверенность и знакомая властная интонация из недавнего благополучного прошлого передались окружающим. Старики перестали кашлять, замерли, жадно внимали. Своей дряхлой обессиленной плотью впитывали бодрящую энергию густого спокойного баритона.

Он нарисовал им картину разразившейся катастрофы. Упадок промышленности, обнищание народа, коррупция власти, распад территорий, где хозяйничали преступные кланы, – и в итоге беззащитность страны перед лицом американского врага, установившего в России жестокий режим оккупации.

Он говорил общеизвестные вещи, не делал открытий, не прибегал к гиперболам. Изъяснялся языком газетной статьи или отчетного доклада. И старики вожделенно внимали, понимали его, соглашались. Переживали случившуюся со всеми ними беду.

Тучный рыхлый старик в мятой блузе, со складками желтого жира, блеснул золотыми очками, сквозь которые не мигая смотрели выпуклые водяные глаза. «Дипломат», – определил Хлопьянов, представляя, как посольский лимузин с красным флажком вносил его в резиденцию, под сень араукарий и пальм. В прохладном кабинете, украшенном африканскими масками, он выслушивал доклады советников, принимал военных, разведчиков, властно управляя политикой молодой африканской республики. Теперь же, лишенный всего, переживая разгром империи, искал хоть искру надежды.

Лысый, с граненым черепом, с квадратными шершавыми скулами, зазубренный, красный от давнишнего ветра, шевелил беззвучно губами. «Начальник треста», – окрестил его Хлопьянов, представляя в другой, исчезнувшей жизни. В брезенте, в кирзе выпрыгивал из вертолета то в белой глазированной тундре с черным штырем буровой, то в дикой степи с кружевами электрических мачт, то у синей реки с бетонными быками моста. С угрюмым упорством он

долбил и взрывал землю, начиная ее металлом, энергией, строя города и заводы. Теперь заводы стояли, пустыли города, и люди разбегались, проклиная степи и тундры.

Генсек говорил о предателях. О тех, кто недавно возглавлял государство и партию, сидел в министерствах, обкомах, руководил академиями и газетами. В августе злосчастного года открыли ворота врагу. Говорил о предателе всех времен и народов, вертлявом и улыбочивом бесе, отдавшем на истребление Родину, и о неизбежном возмездии.

Ему внимали жадно и истово. Желали возмездия и страшной кары изменникам, пытки и мучительной смерти. Их блеклые впалые щеки покрывались румянцем. Гневно ходили на горле сухие кадыки. Сжимались кулаки с синими стариковскими венами. Они верили Генсеку, вставшему на мостик тонущего корабля, откуда сбежал предатель. Отдавали ему последние силы, уповая на то, что он добьется победы, спасет страну и накажет изменников.

Худой носатый старик с высохшей шеей, опущенными плечами, похожий на беркута, смотрел сквозь очки желтыми круглыми глазами. «Чекист», – окрестил его Хлопьянов, замечая беспощадный блеск его стерегущих глаз. Представлял, как сидит за железным, привинченным к полу столом, направляет яркий свет лампы в лицо приведенного на допрос предателя. И тот лепечет, испуганно перебирает ногами, покрывается липкой испариной. Лоснящийся лысый лоб с фиолетовым родимым пятном.

И рядом второй старик в поношенном генеральском мундире, с трясущейся седой головой что-то беззвучно шептал. Должно быть, приговор тому, кто предал Отечество и теперь стоит у кирпичной стены под дулами карабинов.

Так слушали все доклад Генсека. Хлопьянов не находил в словах говорившего фальшивой нотки, верил ему, принимал.

В завершение Генсек поведал своим престарелым товарищам то, что они ожидали услышать. Зачем явились сюда, преодолев уныние, хвори, тусклую бесполезную старость. Он рассказал им, что сделает партия, чтобы остановить разрушителей, вырвать власть у врага, восстановить государство. Он указал на союз «красных», и «белых», коммунистов и монархистов. Одни потеряли власть в самом начале века, другие на его исходе. Теперь соединяются для отпора захватчикам. Так завершал свою речь Генсек, двигая перед собой сильной ладонью, направляя в зал выпуклый лбище, благодарил стариков за внимание.

Поднялась тяжелая, в черном платье старуха. Сквозь редкие белые прядки розовел ее лысеющий череп. Вся грудь была в наградах. Они разом звякнули, когда она поднялась. Сипло дышала, шевелила бессильно губами, а потом рыдающим голосом, от которого у Хлопьянова сжалось сердце, спросила:

– Ждать нам сколько?... Доживем до победы?... Или так и умрем, не дождавшись?

И весь зал застонал, заволновался, задышал тяжело и тоскливо, словно старики умоляли Генсека не оставлять их перед смертью, не изменять заветам и заповедям. А если они умрут, не доживут до победы, продолжать их борьбу.

– Я уверен, доживем до победы! Я – политик, и не мое ремесло гадать. Но давайтеждемся осени. Все идет к перелому. Осенью грянут большие события. Верю, доживем до победы!

Он встал и спустился в зал, занял место в первом ряду. Ему аплодировали, были благодарны, готовы идти за ним, опираясь на свои костыли, поддерживая друг друга.

Хор ветеранов пошел на сцену. С трудом отрывались от кресел, упирались палками, охали и стонали. Встали лицом к залу, – орденские колодки, седые букли и лысины, – по единому мановению и вздоху запели «Вставай, страна огромная!» Их голоса звучали глухо, как ветки в безлистом осеннем лесу, когда в них залетает предзимний ветер. Казалось, слова великой песни доносятся из-под земли, куда все они скоро сойдут и где поджидает их поколение, воевавшее, строившее, в великих трудах и лишениях создававшее государство, вызывающее из своих могил и склепов к живым.

Пели старики, раскрывая темные рты. Пел Генсек, набычив лоб. Пел Хлопьянов, сжав кулаки. И ему казалось, он идет с ополченцами в волоколамских полях, ветер свистит в штыках, слезы замерзают в глазах.

Они остались с Генсеком в опустевшем подвале, где еще воздух душно волновался от прошедшей толпы стариков. Алебастровый бюст вождя источал запах сырой извести. На шатком столике виднелась ржавая бирка с номером. Генсек недоверчиво смотрел на Хлопьянова, шевеля бровями, выглядывая из-под своего тяжелого купола.

– Откуда вас знает Клокотов? – спрашивал он осторожно, не подпуская близко Хлопьянова, держа его на расстоянии выстрела. – Он сказал, что вы офицер.

– В Афганистане встречались. А потом в Карабахе, в Тирасполе. Оказывал ему помощь по линии военной разведки.

Хлопьянов чувствовал недоверие Генсека, но это не раздражало его, а лишь побуждало преодолеть недоверие.

– Клокотов мужественный редактор и хороший товарищ. Пожалуй, чересчур романтичный, – сказал Генсек. И в этом замечании было все то же недоверие к Хлопьянову, рекомендованному восторженным, недостаточно проницательным человеком.

– Я пришел предложить вам мои знания, – сказал Хлопьянов, выдерживая взгляд Генсека. – Я офицер разведки с боевым опытом. У нас с вами один враг, одно понимание жизни. Я бы мог быть полезным в организации боевой фракции, в создании службы разведки и контрразведки. Рано или поздно дело дойдет до силового столкновения. Я боюсь, что оппозиция окажется беззащитной в случае прямого удара.

– Организацию можно победить только более совершенной организацией, – Генсек блуждал глазами вокруг головы Хлопьянова, словно в окружающем воздухе хотел угадать признаки вероломства – У противника в руках государственная машина. Разведка, армия, аналитические институты. Их не одолеть прямыми наскоками, выстрелами из проезжающей машины. Мы должны создать интеллектуальный центр с привлечением экономистов, социологов, представителей культуры. Тогда мы можем претендовать на успех.

– Пока вы будете создавать этот центр, к вам внедрят, если уже не внедрили, провокаторов! Ваши планы станут известны противнику. Ваши лидеры будут подвергаться давлению. Вас переиграют и уведут в сторону. Вам нужна своя разведка и контрразведка. Оппозиция состоит из идеалистов и писателей. Вам предлагает услуги профессиональный военный!

– Сейчас для нас основная задача – выстроить идеологию, – Генсек отгораживался от Хлопьянова куполом лба, отражал его настойчивую энергию, стремление приблизиться. – Сейчас в оппозиции много течений, столько же вождей. Мы должны создать единую идеологию и выбрать единого лидера. Без этого никакие боевые фракции не обеспечат успех.

– Я видел ваших лидеров! – Хлопьянов чувствовал недоверие Генсека, невозможность пробиться сквозь плотное, непрозрачное поле отторжения, за которым скрывалась сущность Генсека, осторожного умного аппаратчика, не желавшего рисковать, предпочитавшего медленными проверенными шагами добиваться малых успехов, чтобы не рассыпаться, не растряссти по пути свою стариковскую партию. – Лидеры не защищены. Их разговоры прослушиваются. В их квартиры заглядывают снайперы. За ними ходит «наружка». Их можно нейтрализовать в течение минут. И тогда Россия на десяток лет останется без оппозиции. Я вам предлагаю услуги профессионала. Я организую службу безопасности. Организую явки. Организую систему, которая поможет лидерам в случае чрезвычайных обстоятельств уйти в подполье и выжить.

– Мы уже взаимодействуем с существующими силовыми структурами, – Генсек не пускал Хлопьянова в свою сокровенную сущность. Там, в глубине, под внешностью сильного лидера, народного трибуна, борца таилась неуверенность и смятение. Неизжитый страх поражения. Неверие в возможность скорой победы. Он был мнимым вождем и лидером, ибо пар-

тия, которая досталась ему, напоминала груды рыхлой земли по краям глубокой ямы, из которой вырвали и унесли могучее дерево. И он балансировал на этой гряде, слыша, как осыпается грунт. – Наши люди, готовые нам помочь, работают в армии, в разведке, в правительстве. Мы пользуемся их информацией, учитываем их рекомендации и советы.

– Вы не успеете! – огорченный непониманием, уязвленный недоверием, воскликнул Хлопьянов. – Революция случится раньше, чем вы к ней подготовитесь! Восстание будет раньше, чем вы создадите идеологию! Вы опоздаете!

– В России больше не может быть революций! – жестко, почти враждебно сказал Генсек. – Россия исчерпала свой лимит на революции и восстания. Россия на весь следующий век израсходовала себя в войнах, революциях и восстаниях. К тому же у нас слишком много атомных реакторов, химических производств и ракетных шахт, чтобы позволить роскошь еще одной революции! Вместо революции и гражданской войны нам нужно широкое общенародное движение. К осени у нас будет такое движение! Не сорваться, не дать себя спровоцировать, не дать противнику повод разгромить наши силы! Великое терпение и такт в отношении с другими движениями! Умение работать в коалиции, – вот в чем искусство политика! Сейчас, вы видели, я встречался с ветеранами. Потом еду на завод к рабочим. Потом в университет к профессорам и студентам. Потом к писателям. Потом у меня встреча с иерархами церкви. Нам нужны не боевики, а интеллектуалы и теоретики! Идея, а не пуля спасет Россию!

Хлопьянов понимал, – сидящий перед ним человек был не революционер, не подпольщик. Был не готов к конспирации, к тайным провозам оружия, арестам, ссылкам, бегству из туруханской тайги. Его психология отличалась от той, что век назад двигала создателями партии, владевшими революционной борьбой, вдохновленными великой утопией, ради которой они готовы были уничтожить весь ветхий мир. Генсек напоминал погорельца, блуждающего по пепелищу, собирающего в золе остатки несгоревшего скарба. Или собирателя мерзлых картофелин, который бредет по осеннему полю, перепаханному комбайном, выглядывает из-под темных пластов уцелевшие клубни.

Хлопьянов умом понимал и ценил это качество собирателя, но страстной, ненавидящей, желающей мстить душой отрицал эту осторожность и осмотрительность. Обвинял Генсека.

– Не Америка нас сгубила, не масоны, не ЦРУ! Нас сгубила партия, ее неспособность сражаться!.. Вы профессиональный политик, я вас уважаю, готов вам служить. Но скажите, что вы делали, когда стала видна катастрофа? Когда стало ясно, партией управляет предатель! Где партийная разведка? Где подполье? Где тайная партийная касса? Где сейфы с партийным архивом?... Вы вели войну с самым жестоким противником и были не готовы к отступлению. Сталин перед войной на всей территории, даже в Сибири, заложил подпольную сеть, склады с оружием. Вы же были бездейтельны, не готовы к борьбе и проиграли страну! Как же с таким подходом вы хотите вернуть себе власть?

Он обвинял Генсека, почти кричал на него. Ожидал, что прогонит его. Но Генсек двигал на лбу набухшими жилами, страдальчески шевелил бровями, принимал его обвинения.

– Почему вы не хотите меня использовать? Не верите? Боитесь, что я провокатор?... Проверьте, дайте задание!.. Хотите, организую теракт, уничтожу одного из мерзавцев!.. Хотите, организую наружное наблюдение за любым из высших противников!.. Дайте указание, я соберу отставников, крепких талантливых мужиков, и мы создадим для вас партийную разведку!.. Я могу поехать в Абхазию, в Приднестровье, в Азербайджан! Там воюют мои товарищи. По первому слову приедут, создадут боевую структуру!

– Слишком громко говорите, нас могут услышать, – Генсек повел глазам и по низкому потолку, где зеленели ядовитые потеки. – Мне бы не хотелось здесь обсуждать эти вопросы... Я действительно вас должен проверить. Рекомендации Клокотова недостаточно. Я не могу рисковать.

– Даже если вы мне не поверите, я буду действовать один. Я слишком их ненавижу, не могу жить под их властью.

– Хорошо, – сказал Генсек, завершая разговор. – Я должен подумать. Оставьте координаты. Через неделю вас найдут.

Он поднялся, пожал Хлопьянову руку и ушел, покачиваясь, широко расставляя ноги, как по палубе броненосца. Хлопьянов остался один в полутемном подвале, где стол был затянут малиновой мятой скатертью, стоял графин с несменяемой мутной водой, и алебастровая голова вождя смотрела на него невидящими бельмами.

Глава пятая

Он не рассматривал свое посещение Генсека как неудачу. Узнал человека, ключевую фигуру оппозиции. Почувствовал его возможности и его пределы. Предложил свою помощь и не был отвергнут. Осторожный политик приблизил его на дистанцию, с которой мог его наблюдать, не подвергаясь при этом риску. Хлопьянов оценил это точное дозирование искренности и настороженности. Желания воспользоваться спецом и чуткого недоверия к случайному доброхоту. Неделя для размышления, о которой просил Генсек, была приемлемым сроком, и могла быть использована для встреч с другими оппозиционными лидерами.

Этим следующим лидером был отставной генерал КГБ, собиравший вокруг себя русских националистов, выцвинувший лозунг русской государственности и православия, учредивший, как он заявил, не партию, а Собор. Все сословия, все классы, исповедующие идею Великой России, смогут объединиться для соборного русского дела.

Хлопьянов слышал о генерале, читал его заявления. Не мог до конца понять, как из недр политической разведки, созданной коммунистами, где каждый офицер сто крат проверялся на лояльность, как из среды КГБ мог возникнуть православный монархический лидер. Однако идея монархии, великой русской империи была близка Хлопьянову. Сам генерал, обладавший организационным опытом, знанием политики и военного дела, должен был выгодно отличаться от филологов и писателей, шумно и напыщенно вещавших о вере, царе и отечестве. Не понимая реального устройства общества, соотношения потенциалов и сил, они наполняли патриотические издания однообразной, неопасной для противника риторикой.

Он отправился на свидание с лидером, – «Белым генералом», как мысленно он его окрестил. И был принят в резиденции, в маленьком особнячке в самом центре Москвы. Здесь уже собирались приближенные к генералу люди, чтобы отправиться на Крестный ход на Волхонку, к местоположению Храма Христа Спасителя. Бассейн, в котором еще недавно плавали и фыркали москвичи, был спущен, и на месте его образовалась жаркая пыльная, с замызганным кафелем ямина, символ запустения и бездарности.

В прихожей его долго держали два дюжих коротко стриженных охранника, пока третий удалился во внутренние покои доложить о его появлении. Наконец его пригласили, и он оказался в просторной зале, где былолюдно. В кресле сидел генерал, окруженный единомышленниками. Кивнул Хлопьянову, не подпуская к себе, а направляя длинным и властным взглядом к стулу у мраморного камина. Хлопьянов, повинувшись генеральскому взгляду, удалился к камину, получив возможность оглядеться и присмотреться к публике. Приступил к немедленному, с первых секунд собиранию драгоценных впечатлений, складывая из них образ хозяина.

Белый генерал вольно откинулся в кресле, свесив с подлокотников длинные белые кисти. Его узкое, с крепкими скулами лицо было сосредоточенно и серьезно. Густые брови отделяли высокий лоб от близко посаженных настороженных глаз. На нем был светлый, великолепно сидящий костюм, дорогой, небрежно завязанный галстук. В манжетах, черные, словно вороньи глаза, оправленные в серебро, блестели запонки. Он восседал отдельно от остальных. Кто-то умело расставил стулья, не приближая их к креслу хозяина.

Среди присутствующих ярко и заметно выделялся казак с золотой бородой, лихим чубом, в сапогах и лампадах, с торчащей из-за голенища нагайкой. На его серебристых погонах было несколько маленьких звезд, крутую грудь украшал Георгиевский крест. Когда Хлопьянов вошел, казак умолк на полуслове, строго посмотрел на Хлопьянова ярким и синими глазами.

Тут же подле казака находился священник. Хлопьянов с изумлением и радостью узнал в нем отца Владимира, того, с кем познакомился у Клокотова и кто в силу таинственных совпадений был знаком с Катей. Священник держал на коленях маленький кожаный саквояж, улыбнулся издали Хлопьянову, как давнему знакомому.

В зальце были мужчины и женщины, среди них сурового вида немолодой воин в камуфлированной форме, и другой, в кружевной рубашке, с серебряной цепочкой нательного креста, и седовласая женщина в долгополой юбке с костяным гребнем в прическе, и какой-то болезненный нервный интеллигент, теребивший бумажный рулончик.

Все они окружали Белого генерала, над которым свешивалось имперское, черно-золотое белое знамя и висела гравюра с Мининым и Пожарским.

– Вот я и говорю, – продолжал казак прерванную Хлопьяновым фразу. – Я прикажу: «Вперед! Рысью! Марш!», и моя сотня за мной в огонь! Они меня знают, как отца родного, а поверят ли кому другому, надо смотреть! Мы пойдем за тем, кто без коммунистов и без жидов. Мы, казаки, от тех и от других натерпелись. Один с козлиным профилем подходит и ну блять: «Вы, де, ряженные! Не казаки, а куклы!» Я велел его скрутить, жопу ему заголить и десять плетей всыпать. Так он бег от нас не оглядываясь!.. Так вот я и говорю, – казаки сотнику Морозу верят, а на других им еще поглядеть надо!

– Я с вами, сотник, согласен, – Белый генерал наклонил продолговатую олову, сурово смотрел серыми стальными глазами. – Два раза за столетие коммунисты продали Россию, тогда в семнадцатом и теперь. Веры им быть не может. Мы обойдемся без красных и достигнем своих великих целей без коммунистов. Я был на Дону, на Кубани, встречался с атаманами войск. Они мне окажут поддержку. Когда мы придем к власти, мы вернем казакам самоуправление. Станем формировать по всей границе России от Кавказа и до Амура казачьи боевые заставы. Ни один волос с русской головы не упадет безнаказанно. Мы станем жестоко мстить за каждого поруганного русского, находить обидчика, даже если он скрылся за границей!

– Любо! – соглашался сотник Мороз. – Любо, генерал!

Его синие глаза потемнели, как вода на глубине. Борода золотилась, словно слиток. Красные лампасы струились, ниспадали к начищенным голенищам.

Хлопьянов наблюдал генерала. Тот хотел казаться сильным и властным. У него была задача внушать уверенность окружающим его сторонникам. В пору дряблой власти и общей растерянности только сильная личность могла сплотить утративший веру народ. Таким и старался выглядеть генерал. Но в этом старании проскальзывала неуверенность и нарочитость. Словно он сомневался, так ли говорит, с должной ли долей свободы и небрежности лежат на подлокотниках его руки, верно ли выбрано расстояние между креслом и остальными стульями. Эта проскальзывающая неуверенность смущала Хлопьянова.

– Мне кажется, мы, монархисты, должны на всю Россию заявить протест по поводу захоронения так называемых «царских останков»! – нервный желтолицый господин теребил тощими пальцами рулончик бумаги, торопился завладеть вниманием генерала. – Какие-то иудеи в какой-то уральской яме отыскивали какие-то кости! Другие иудеи поспешили признать их монаршими останками! Третьи готовы похоронить их в царской усыпальнице, объявить святыми мощами, сделать местом поклонения русских людей! Задумайтесь, какой страшный подлог! – человек округлил ужаснувшиеся глаза, на его желтом лбу стусилились морщины страдания. – Готовый к покаянию русский народ приходит к гробнице, полагая, что в ней мощи августейшего новомученика. Молит о прощении, о спасении России. А оказывается, молитвы обращены к обыкновенному грешному праху, а то и к разбойнику, а то и к иудею! Не достигают своей цели, падают в пустоту! Это сатанинский проект по разложению православия. Вот здесь. – человек поднял рулончик бумаги, – заявление монархического союза по этому поводу! И было бы важно, чтобы нас поддержали!

– В ближайшие дни у меня намечена встреча с Патриархом. – Генерал величественно наклонил свое узкое бледное лицо, давая понять, что тревоги монархических кругов понятны ему. Он разделяет негодования и подозрения, связанные с захоронением «останков». – Мы обсудим эти проблемы с Патриархом. Естественная форма правления в России – это право-

славная монархия, и мы не скрываем своих идеалов! Новый монарх будет избран из числа ныне живущих русских, как сказано в писании: «Выберете царя из народа своего!»

Он замолчал, давая присутствующим понять глубину суждения. Хлопьянову показалось, что, говоря об избрании монарха, генерал тайно имел в виду себя. Он изучал генерала, как человека, с которым, быть может, придется проливать свою и чужую кровь. Не хотел ошибиться. Испытывал легкое к нему недоверие, его позы, многозначительности, к идеям и целям, которые не вязались с недавним прошлым кадрового генерала госбезопасности. Хлопьянов, офицер военной разведки, недолюбливал работников безопасности. Этим объяснял свою антипатию к генералу. Не давал ей ходу, наблюдал и слушал.

– Мы, православные, должны особенно остро чувствовать сатанинские силы, напавшие на Россию. – отец Владимир при словах «сатанинские силы» перекрестил себе грудь, не пуская их в сердце. – В Москве, в разных тайных домах, под прикрытием властей проходит бесовская кампания. Сатанисты коллективной магией наводят порчу на русский народ, отлучают его от Христа. Монахи и священство молитвами заслоняют Россию от беса, ведут небесную брань. А миряне, политики, православные люди ведут с сатаной брань земную. И всякий есть воин Христов. Мы пойдем сейчас крестным ходом ко Храму Христа, а я знаю, что сатанисты именно в этом месте, на дне злосчастливого бассейна, затеяли свои срамные игрища на посрамление Москвы. Следует политикам и деятелям культуры вместе с духовенством возвысить голос в защиту православной Москвы!

Лицо генерала побледнело, сделалось жестким, почти жестоким. Серые глаза беспощадно блеснули. Тонкие пальцы гневно сжались в кулак.

– Я вас заверяю, ни одно преступление против России не останется безнаказанным! Ни одно оскорбление в адрес русского человека, будь то на телевидении или в газете, не будет забыто! Мы тщательно отслеживаем такого рода высказывания, запоминаем хулителей! Когда придем к власти, спросим с них полной мерой!

В словах генерала слышались сила, убежденность, свидетельства власти, которую он несомненно имел, пользуясь необорванными связями со своими бывшими сотрудниками. Эти сотрудники служили режиму, ненавидя и презирая его. Другие, покинув службу, обосновались в банках, компаниях, в аппаратах министерств и ведомств. Продолжали влиять на политику. Белый генерал, уйдя в оппозицию, враждуя с властью, был связан с нею множеством невидимых уз. Его уверенность, твердость впечатляли. Ему верили, к нему тянулись. Хотели видеть в генерале твердого, беспощадного к противникам лидера. Всем своим поведением он подтверждал этот образ.

Хлопьянов отмечал, как старательно и умело генерал помещает себя в золоченую раму вождя. Лишь местами не слишком заметно он вылезал из лепного багета. Но эти подмеченные Хлопьяновым огрехи вызывали тревогу.

– А я бы хотел поговорить за «афганцев», – вступил в разговор человек в камуфляже, чье шершавое, зазубренное лицо было ободрано о скалы, оббито о броню, изъедено гарью, источено болезнями, пьянством, физическим страданиями и злостью, сквозь которые проступали узнаваемые черты офицера, хлебнувшего, как и он, Хлопьянов. – Ведь нас, «афганцев», мотают, как хотят! Кого прикупили. Кого споили. Кто на все махнул рукой. А ведь мы все еще сила! Все ждем, кто нас позовет. Кто скажет «Вперед, мужики!» И мы пойдем, хоть на Кремль!

Хлопьянов старался припомнить, где мог его видеть. На пересылке в Кабуле, где томились, ожидая бортов, прибывавшие на войну офицеры среди жужжания моторов и солнечной пыли. Или в колонне грузовиков на Саланге, когда в порывах горячего ветра катили наливники и стволы скорострельной пушки скользили по склонам гор. Или в лазарете в Баграме, где под капельницами лежали десантники, санитары в цинковых ведрах уносили ошметки плоти. Или в красных песках Регистана, когда вертолет опускался в бархан, и верблюды с тюками скалили желтые зубы. Это лицо повторяло множество виденных лиц. Было лицом «афганца».

– «Афганцы» – самые лучшие и благородные люди современной России, – твердо сказал генерал. – Они проливали кровь за Родину, в то время как другие в тылу воровали. Разрушение армии и государства началось с предательства Горбачевым «афганцев». Мы еще вернемся к тем рубежам, с которых нас согнали предатели! Когда придем к власти, я прикажу устроить парад «афганцев» на Красной площади. Все полки, все части, все командиры, все герои войны пройдут по брусчатке. А Горбачева я поставлю на коленях с веревкой на шее у Лобного места. Пусть кается, глядя на тех, кого предал!

Хлопьянова захватила мысль о параде. Он представил, как на брусчатку, под красные звезды Кремля выезжают броневые колонны. Знакомые бэтээры и танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и КамАЗы. На тросах протягивают подбитые машины, продырявленные кумулятивными взрывами, с оторванными башнями, с горелой трухой и окалиной, с запекшейся кровью водителей. За ними пройдут инвалидные коляски с безногими, слепыми, в шрамах и черных очках. Народ на трибунах встанет и снимет шапки, приветствуя героев войны. С раскрытыми боевыми знаменами, в орденах и медалях пройдут полки и дивизии, десантно-штурмовые бригады, батальоны спецназа. Кандагар, Герат и Кундуз, Джелалабад, Файзабад и Гордез. И он сам, Хлопьянов, в их братстве, в их сомкнутых боевых колоннах, и над ними в трепете солнца – вертолет огневой поддержки.

– Вы – наша надежда, наш праведник и воин! – женщина, напоминавшая классную даму в губернской гимназии, дождалась своей минуты и, прижимая руки к плоской груди, тянулась к генералу. – Я молюсь за вас, как и все патриоты России! Вы окружены спасительным полем молитв! Вас Бог послал России! Вы – наш Пожарский! Я верю, что скоро наступит час, когда Москва встретит вас колокольным звоном! Вы, как Жуков, на белом коне въедете на священные камни! Народ и духовенство встретят вас, как избавителя России! Имя ваше будет прославляться в стихах и песнях, а кисть художника запечатлит этот священный миг!

Она говорила восторженно, певучим речитативом, исторгая из своей груди бесконечные длинные побеги и стебли. И Хлопьянову казалось, что в комнате на глазах вырастает шумное трепещущее дерево. Белый генерал сидит под этим деревом, и ему хорошо. Он был увешан славословиями, как плющом, и высокий лоб его украшал венок благородных листьев.

– Россия помнит своих спасителей, – сказал генерал, когда дама умолкла. – Есть книга, куца рукою праведников заносятся имена всех, кто пострадал за Веру и Родину. И, быть может, некоторые из нас уже занесены в эту золотую книгу.

Хлопьянова не отталкивала и не смущала готовность генерала принимать восхваления, которые могли показаться откровенной лестью. Лидер, стремившийся овладеть толпой, был вправе создавать свой культ, окружать себя обожателями. Его смущало неустранимое несоответствие между высокопарной, недавно усвоенной риторикой и всем прежним опытом генеральской службы, где умело фабриковались политические мифы и сотворялись мифические фигуры политиков. Он слушал Белого генерала, мучаясь от своих подозрений.

– Ну а я, господа, далек от вашей политики! Хотя, конечно, мы, предприниматели, русские купцы, хотели бы видеть в Кремле настоящего русского царя! – Человек, с самого начала напоминавший Хлопьянову артиста, играющего героев Островского – пышная вымытая борода, шелковая жилетка, толстая золотая цепь от часов – плутоватый, с веселыми глазами человек наслаждался услышанным. – Мое умение – золото добывать! Слушая вас, убеждаюсь, что вы православные люди. А где Православная церковь, там и я! – он обращался к генералу, плутовато блестя глазами. – Я помогу вашему движению по мере сил моих, а уж ваше дело куда эту помощь направить, на ополчение или на строительство храма. Приглашаю всех присутствующих здесь господ на презентацию моей компании «Русское золото»! Прошу получить пригласительные карты!

Он достал стопку лакированных, тисненых золотом билетов, стал одарять ими присутствующих. Хлопьянов получил в руки жесткий лакированный билет. Увидел вблизи сытое, розовощекое, заросшее бородой лицо, тяжелую желтую цепь.

Все радовались пригласительным билетам, прятали поглубже, кто в карман, а кто в сумку.

Генерал стал медленно подниматься, и по мере того, как он поднимался, все умолкали, направляли на него вопрошающие взоры. Он встал, высокий, узкоплечий, обвел всех холодными глазами, словно убеждался в верноподданных чувствах.

– В ближайшее время мы созовем Съезд Русского народа. Пригласим на него представителей городов и земель, всех сословий, всех прославленных в России людей. На этом Съезде избираем Русское правительство. Потребуем от президента и депутатов принять его полномочия. – Генерал говорил четко, властно, чтобы слышали его не только в этой комнате, но и в Кремле. Он был наделен властью, вверенной ему народным движением, заповедями предков, заветами православия. – Это Русское правительство остановит развал, изгонит и накажет предателей и восстановит традиционное русское государство во всем его объеме и мощи! Если президент откажется его признать, мы соберем ополчение! Нас поддержит армия, органы безопасности, казачество. Узурпаторы рассеются, как дым, ибо с нами Бог!

Он сложил щепотью свои длинные белые персты, и сильно ударяя себя в плечи и грудь, перекрестился. И все перекрестились вместе с ним, как перед битвой. А казак Мороз щелкнул каблуками и от души сказал «Любо!»

Генерал двинулся от своего кресла к Хлопьянову. Проходя мимо, сказал:

– У меня есть несколько минут. Побеседуем в соседней комнате, – и вышел, оставляя за собой восторженный ропот.

В комнате, куда они перешли с Белым генералом, не было трехцветного имперского знамени, образов, изображений Минина и Пожарского. У одной стены был сооружен красивый маленький бар с дубовой стойкой и множеством разноцветных бутылок. У другой стоял удобный кожаный диван, кресла, и над ними висела картина художника-абстракциониста. На столике с лакированным английским журналом крутилась в бесконечной карусели забавная кинетическая скульптура.

Генерал сел на диван, указав Хлопьянову на кресло. Красиво обнажив белую манжету с вороненой запонкой, достал пачку «Мальборо» и закурил. Затянулся с наслаждением, словно отдыхал от недавней, оставшейся за стеной атмосферы.

– Клокотов звонил мне и просил за вас, – сказал генерал, глядя на тлеющую в пепле рубиновую точку. – Клокотов талантлив, неутомим, но слишком эклектичен. Пора ему выбирать между коммунистами и националистами, а он все скачет на двух лошадях. Красный конь хромой, скоро сдохнет, а Россия будет скакать на белом коне... Ваша профессия? – генерал сквозь облачко дыма остро смотрел на Хлопьянова, словно прочерчивал по его лицу царапины, желая убедиться, не загримирован ли он, – по лбу, переносице, на скулах и подбородке. – Чем занимаетесь?

– Офицер ГРУ, – ответил Хлопьянов, протягивая генералу удостоверение. – Места службы – Афганистан: операция «Муса-Кала», «Магистраль», вывод войск в направлении «Кандагар-Тарагунди». Затем: Ставка южного направления, Сумгаит, Степанакерт. Под руководством Виктора Поляничко ликвидировал армянское подполье в Карабахе. Затем: Четырнадцатая армия в Приднестровье, противодействие молдаванам в районе Дубоссар и Бендер. Несколько командировок в Абхазию в период контрнаступления на Сухуми. В настоящее время уволен в запас в звании полковника.

Генерал внимательно просмотрел удостоверение и вернул его Хлопьянову, уронив с сигареты на столик горстку пепла. Минуту длилось молчание. Генерал курил, рассматривал Хлопьянова, как деталь, мысленно помещая в неведомую Хлопьянову машину. Извлекал, снова вкладывал. Примерял к гнезду, к резьбе, к невидимым шарнирам и сопряжениям. Хлопьянов

терпеливо ждал. Позволял обращаться с собой, как с запчастью. Он и был запчасть – одинокий полковник запаса, предлагающий себя дееспособной организации патриотов.

– Скажите, – задумчиво произнес генерал, растягивая слова, осторожно ввинчивая Хлопьянова в невидимую полость, стараясь не сорвать резьбу. – Если бы вам предложили наладить связи с другими офицерами разведки в военных округах, на флотах, в Главном управлении, в Минобороны, вам бы это было под силу?

– У меня остались товарищи в частях, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны. Некоторые служат в Казахстане, в Грузии, в Приднестровье. При необходимости такие связи могут быть восстановлены, – ответил Хлопьянов. И быстролетной мыслью пронесся по всем пространствам, где служили его друзья-разведчики. Мыкали горе на проклятых междоусобных войнах, тоскуя, спиваясь, кляня мерзавцев, разоривших страну и армию. Но были и такие, кто безбедно служил в Москве, бил баклуши в сахарно-белом здании на Арбате. Или перебрался в посольства и вполсилы, имитировал службу подальше от продажной Москвы.

– А скажите, – продолжал генерал, все так же задумчиво, шевеля худыми пальцами, словно вывинчивал Хлопьянова из одного устройства и примерял для другого, – если бы вам, как разведчику, поручили закладку сетей, поиск источников, ну, скажем, в донском казачестве. Или в русской общине Эстонии. Или, к примеру, в нашей московской оппозиции. Вам бы это было под силу?

– Я закладывал сеть в Фарах-Руде, принимал агентуру из Ирана. Восстанавливал разрушенную армянами сеть в Шуше, внедрял по азербайджанским селам, вплоть до Лачина, надежные источники. Пользовался сетью в Дубоссарах, по обоим берегам Днестра, – Хлопьянов отвечал генералу и с моментальной тоской и сладостью вспомнил желтую глинобитную стену, вдоль которой бесшумно скользит гонец. Долгополая хламида, черная борода под чалмой, пыльные, стоптанные сандалии. В прохладе они пьют чай, извлекают из вазы афганские сладости. Пыльная обувь стоит у порога. Косой красный луч падает из-за шторы на гостя. Или ночные поездки по Лачинскому коридору, запах воды и мокрых камней. Чувство тревоги, ожидание удара и выстрела. И в расщелине среди черных кустов вспыхивает троекратно фонарик. Цепляя автоматом за ветки, он ступает по скользким глыбам туда, где ждет его неразличимый во тьме человек. Или латунно-желтый разлив Днестра, ленивое течение маслянистых вод, тучные сады в селеньях. В придорожной харчевне, где обедают утомленные ополченцы, косматые коричневые от солнца казаки и печальные погорельцы, он подсаживается к худой белозубой крестьянке. Угощается яблоками из ее помятой кошелки, подмигивает ей и хохочет. А она, вынимая круглые пахучие яблоки, посмеиваясь на его прибаутки, тихонько рассказывает о движении пехоты и танков.

– Ну а если бы вам поручили создать аналитический центр, в котором отслеживается ситуация в коридорах власти, в группировках правительства, в промышленных и банковских сферах? – Генерал аккуратно вталкивал его в невидимый агрегат, подгоняя под зазоры и допуски. Хлопьянов не сопротивлялся его усилиям. Чувствовал себя деталью, которую умелый оружейник помещает в систему оружия, заменяя недостающий, изношенный элемент. – С этим вы в состоянии справиться?

– У меня не было опыта непосредственной работы в аналитическом центре, – ответил Хлопьянов, – Только в Баку, в ставке Южного направления. Я принимал участие в анализе сумгаитского кризиса. Мы отслеживали напряженность в районе, давали прогноз событий с последствиями для всего региона. Этот прогноз оправдался. Полагаю, в Москве можно было бы создать экспресс-группы из действующих, симпатизирующих нам аналитиков в правительстве, спецслужбах, в независимых центрах. Хотя, повторяю, у меня нет в этой области опыта серьезной работы.

Колючий ветер на трассе. Колышется хлыст антенны. Он в головном бэтээре на бетонке по пути в Сумгаит. С ходу стальным жгутом колонна врывается в город, в смрад, в клочота-

ные толпы. У автовокзала камнями и палками теснят шеренгу солдат. Хряст и скрежет щитов, вопли и мат, тупые пулеметные очереди. Карэ бэтээров прикрывает скопление армян. На тюках, на цветных подушках сидят старики и женщины, с отрешенными лицами, с огромными, полными слез глазами. Он с автоматом обходит места погромов. На полу, среди осколков стекла изнасилованная мертвая женщина. Кровавые обрезки грудей, липкие дыры глазниц, вывернутые бугристые ноги. Ниже пупка, среди клейких волос и крови блестит в промежностях торчащий лом.

Пронеслось и кануло в ужаснувшейся памяти. Красивый бар у стены. Дорогой торшер с абажуром. Синеватая струйка дыма, истекающая с конца сигареты.

– А если бы вам предложили создать службу безопасности лидера? Прикрывать штаб-квартиру. Сопровождать на путях следования. Обеспечить электронную защиту офиса. С этим вы сталкивались?

Хлопьянов кивнул – да, с этим он сталкивался.

Он обеспечивал выезд генерала Варенникова в ущелье Саланг для встречи с полевым командиром. По обочине, пушками в стороны, стояли танки. Перекликались по радиации высотные посты и заставы. Он сопровождал серебристую «Волгу», тревожно водил глазами, высматривая, не сверкнет ли на склоне тусклый металл, не блеснет ли на солнце бледная вспышка выстрела. Высокий худой Варенников шел навстречу бородачу, не таясь, в полевой генеральской форме. А Хлопьянов, в тревоге, опасаясь подвоха, был готов стрелять по осыпи, по тени пролетной птицы, по цветущим кустам, по черной бороде моджахеда.

Или позже, в Карабахе, он охранял Поляничко, когда тот, тяжелый и грузный, с прилипшей под мышками рубашкой, громоздился в люк транспортера. Они катили из Агдама вверх к Степанакерту, и весь путь до города был ожиданием взрыва и выстрела. Армяне, угрюмые, группами, с небритыми синеватыми лицами, казались врагами, по которым вот-вот начнет стрелять автомат.

Он рассказал об этом Белому генералу, удивляясь свежести памяти, неисчезнувшему чувству опасности.

– Ну а, скажем, спецоперации... Устранение лица или объекта... С этим приходилось встречаться?

Устранение главаря, командира боевой группировки. Фотография кишлака с самолета – соты домов и наделов, клетки полей и садов, струйки арыков. Среди глиняных куполов и сушилен отмеченный крестиком дом – жилище муллы Насима. На бреющем, двумя вертолетами, уклоняясь от зениток душманов, прорвались в кишлак, отработали из всех установок. Смели глинобитный дом, взорвали стены и башни, спалили дворы и постройки. Прижимаясь к блистеру, он успел разглядеть: охваченная пламенем лошадь, и в седле, заваливаясь, скачет убитый наездник.

– Хорошо, – сказал генерал, докуривая сигарету. – Мне было интересно узнать. Я вам дам ответ. Не сейчас. Вы слышали, наш друг из «Русского золота» приглашает на презентацию. Там и увидимся, продолжим наш разговор.

Хлопьянов кивнул. Он не рассчитывал на немедленный успех, но все же был разочарован. Генерал обошелся с ним, как с предметом. Осмотрел, изучил и отложил. Генерал мог использовать его, как сложный компьютер для решения уникальных задач. Или как взрыватель и капсюль для снаряда и мины. Худые пальцы генерала аккуратно ввинтят его в металлический корпус заряда, а потом последует взрыв, ключья растерзанной плоти, и ему никогда не узнать, в чем был смысл операции, какого врага он унес с собой в смерть.

В комнату, где они завершали беседу, вошел охранник с мускулистым бычьим загривком. От порога, перетаптываясь расставленными натренированными ногами, сообщил:

– Телевидение... Хочет снять крестный ход... Ихний режиссер хочет вам слово сказать...

– Зови! – оживился Белый генерал, и в его холодных серых глазах впервые загорелся живой блеск нетерпения.

В комнате появился полнеющий молодой человек с пухлыми вертялыми бедрами. Улыбался, бегал глазами по комнате, фиксируя убранство, ракурсы, источники света. Его курчавая голова крутилась, маленькие ручки жестикулировали. Хлопьянов с мгновенным отторжением узнал в нем известного телеведущего, чьи передачи долгие годы оскорбляли и унижали армию, разъедали государство, и в офицерской среде Хлопьянова считались самыми мерзкими и непотребными на телевидении. Хлопьянов помнил, как этот курчавый ведущий в страшные дни августа, когда безвольные коммунисты отдали власть, и шла охота на последних государственныхников, и толпы на площадях ревели, требуя голов мятежников, этот телеведущий, азартный и потный, как спаниель, объявил с экрана телефон, по которому следует доносить на сторонников путча.

Теперь этот нагловатый, развязно-дружелюбный ведущий стоял перед генералом, и Хлопьянов испытывал к нему, как к врагу-победителю, отвращение, страх, любопытство.

– Уж вы меня извините, что я пожаловал прямо сюда, в вашу молельню, – телеведущий говорил развязно, но и с легкой тревогой, пытаясь соразмерить свое превосходство с положением и ролью генерала, – Не вижу здесь образов, лампад и окладов. – Он насмешливо оглядывал бар, абстрактную картину и кинетическую скульптуру. – Лидер русских националистов и среди этих европейских предметов?

– Разные люди приходят ко мне в гости. – Генерала не обидела насмешка. Напротив, он с облегчением освободился от напряженной позы проповедника и вождя. – Здесь бывают послы европейских стран. Представители либеральной прессы. Я решил, что им будет легче в привычной для них обстановке. Не докучать им символами Великой России, которые могут быть для них невыносимы.

– Ну для меня-то они выносимы! Я, как и вы, – русский патриот, – с веселой ухмылкой сказал гость, поворачивая курчавую голову в сторону Хлопьянова, обезоруживая его, как ему казалось, своей белозубой улыбкой. – И все-таки, ваш образ вяжется с киотами, иконами, православной молитвой. Я хочу вас снять во время крестного хода и показать моим зрителям: вот современный Минин! Вот нынешний князь Пожарский!.. Вы позволите мне снимать?

– Я не в праве вам запретить, – подхватывая его игривый тон, ответил генерал, – Впрочем, я знаю, каким выйду на вашем экране. Либо вы мне сделаете лошадиное лицо. Либо смонтируете с Адольфом Гитлером. Либо покажете в окружении безумных стариков и старух. Ведь вы пришли не для того, чтобы прославить русского национального лидера!

– Одно могу обещать, – строго, ибо речь шла о профессиональной чести, сказал телеведущий. – Я не ваш сторонник, у меня другие симпатии. Но я хочу, чтобы в моей передаче присутствовали все краски, все цвета. Как опытный человек, вы понимаете, что антиреклама – это тоже реклама!

– Поэтому я и пригласил вас снимать крестный ход. Пустил вас в мою резиденцию.

– Тогда, если вы позволите, мои операторы подхватят вас от самых дверей. Будут следовать по пути движения, и вы постоянно будете присутствовать в нашем кадре.

– Воображаю, во что вы меня превратите! – легкомысленно и светски рассмеялся генерал. Когда телеведущий исчез, лицо генерала обрело прежнее надменно-величавое выражение. И Хлопьянов испытал странное ощущение зыбкости и невнятности мира, в котором неразлично слились враги и друзья. Программа, которую вел теперь этот верткий, с пышными бедрами, телеведущий, имела загадочную эмблему. На экране, на мутном космическом фоне, как туманное светило, появлялась бело-голубая щербатая маска, напоминающая поверхность луны. Это была маска японского духа Зла. На ее голове, если приглядеться, сидела омерзительная синеватая жаба.

Неподалеку от генеральского особняка уже собралась толпа. Здесь были бородатые казаки в одутловатых, не по росту сшитых мундирах. К ним тотчас же подошел сотник Мороз, стал командовать, строить, оглашая воздух молодецкими окриками. Несколько священников в золотых и серебряных епитрахлях поклонились, принимая в свой круг отца Владимира, который успел облачиться в тяжелую, металлически-сияющую ризу. Несколько крепких кряжистых мужчин в сапогах и поддевках держали на шестах хоругви, воздели их выше, едва показался на крыльце Белый генерал. Женщины, повязанные светлыми платками, подхватили образ, украшенный праздничными рушниками, повернули икону навстречу подходящему генералу. Благообразные старики в форме офицеров Советской армии и светлоликие дети и отроки внимали пышнобородому человеку, по виду профессору истории или богословия, и разом умолкли, когда увидели генерала.

– Ну что, отцы! – сказал генерал, обращаясь к священникам. – Двинемся с Божьей помощью. Освятим место неудавшегося столпотворения. Потесним беса молитвами. Начинайте, отец Владимир!

Священник негромкими словами, тихими жестами стал выстраивать народ. Само собой образовалось, колыхнулось, двинулось нелюдное шествие. Потянулись ввысь хоругви. Впереди, прижимая к груди тяжелую, в медном окладе книгу, шел белоголовый мальчик. Женщины поклонились генералу, передали ему образ, и он, перехватив рушник, принял икону.

Хлопьянов хотел было идти восвояси, но невидимые тенета уловили его, стали затягивать в людское скопление. Словно ровный настойчивый ветер надавил на спину, подвинул к идущим, и он, удивляясь этому давлению, пошел со всеми. Смешался с казаками, с бородачниками, похожими на сельских землемеров мужиками. Зашагал по московским улицам, видя, как колышутся впереди малиновые и золотые хоругви, как сияет подобно слитку книга в руках у отрока, и отец Владимир подымает свой крест.

Крестный ход плыл по Москве, как парусный флот, сквозь сиреневую бензиновую гарь. Мимо проносились чешуйчатые лимузины. Прохожие расступались, пропускали шествие. Некоторые делали несколько шагов вслед, желали присоединиться, но потом отставали, словно шествие их отторгало.

Сквозь деревья блеснула река. По ней медленно, величаво двигалась белая баржа. На другой стороне реки чернел, как безжизненный угольный террикон, знаменитый Дом на набережной. Когда-то, – думал Хлопьянов, – в нем поселились энергичные надменные разрушители Белой Империи, чтобы из своих огромных застекленных окон любоваться на покоренный Кремль. Под грохот военных оркестров, под красное трепетание флагов был взорван Храм Христа, и красные магистры, упираясь циркулем в центр Москвы, готовились к возведению Башни, мраморного, улетающего к солнцу Дворца. Но магистры были убиты, чертежи Дворца сожжены, и на месте бывшего Храма осталась ржавая рытвина, выложенная несвежим кафелем, напоминающая скорлупу огромного пустого яйца. Из этого яйца вылупилась и исчезла бесследно то ли птица, то ли змея, утянув за собой вождей и героев, палачей и безвинных жертв, красных магистров и застреливших их в затылок охранников. Весь двадцатый, израсходованный и испытанный до капли век, исполненный непомерных мечтаний, дерзких и жестоких свершений. Век, малой частью которого был он, Хлопьянов, офицер несуществующей армии, патриот изрубленной на части страны, слуга погибшего государства, бредущий теперь среди вялых хоругвей, невнятных псалмов мимо ржавого кратера, оставшегося от столкновения с метеоритом.

Он шел по асфальту, окруженный детьми и старухами, несущими букетики бумажных цветов. Его путь по Москве был малым отрезком на длинной дороге, которую он одолевал в своей жизни. Эта дорога продолжала ту розовую влажную тропку под тенистыми дубами, по которой вела его бабушка сквозь блуждающие пятна солнца, и под ногами в зайчиках света лежали гладкие зеленые желуди. В эту дорогу вплеталась и другая тропа, в афганском ущелье,

по которому шел, грязный и потный, ставя на камни утомленные разбитые ноги, боясь наступить на мину, и на мучнистом горячем камне лежала россыпь стреляных гильз. В эту дорогу вливалась сверкающая лыжня, по которой юношей он мчался в подмосковных лесах, и в красном сосняке вышел ему навстречу лось, седой, с сиреневой мордой, окруженной паром. В нее входил и тот крохотный отрезок аэродромного поля под Степанакертом, по которому он нес убитого в засаде товарища, брезент носилок прогибался под тяжестью тела, краснела звезда на борту вертолета.

Вот и сейчас он идет, одолевая малый отрезок жизни, встраивая его в свой земной загадочный путь, который неведомо когда и где оборвется.

Вначале, когда он колебался, идти или не идти ему с крестным ходом, он чувствовал, что неведомая сила, помимо воли, оставила его в крестном ходе. Оказавшись среди белых платков, косматых бород, мятых казачьих лампасов, он ощутил облегчение, слился с шествием, песнопениями, мерцанием церковных облачений. Когда проходили мимо обшарпанного особняка, за которым открылся розовый Кремль, белые уступы соборов, он испытал благодарность к этим безвестным людям, пустившим его в свое шествие, окружившим бумажными цветками, берегающими словами молитвы. Постепенно, не различая молитвенных слов, подчиняясь таинственным торжественным песнопениям, он стал сам молиться. Вызывал кого-то, кто смотрел на них с бледных московских небес, из белого мягкого облака. Он не выпрашивал себе благ, не молил о спасении или продлении жизни. Он молил это невидимое доброе и всемогущее существо объявиться, открыть себя, обозначить свое присутствие в беспощадном и бессмысленном мире, в котором он, Хлопьянов, жил, погибал без цели.

«Если ты есть, – молил он кого-то, укрывшегося в облаке, – покажись и откликнись! Я буду знать, что мир не абсурден! Моя в нем жизнь не напрасна!»

И так страстно и бескорыстно он молился, так сладостны и тягучи были песнопения, так ярко краснел бумажный цветок в руках у мальчика, что душа его, устремленная ввысь, выскользнула из тела, вознеслась к высокому облаку, и навстречу ей из лучей, из-за огненной кромки облака кто-то вышел, огромный, светоносный и чудный. Подхватил его душу, и мгновение они реяли вместе над Кремлем, над блеском реки.

Он не мог понять, что это было. С кем повстречалась его душа у кромки белого облака. Кто ее обнял, унес в высоту, а потом вернул обратно на землю.

Крестный ход обходил бассейн. Приближался к деревянной, воздвигнутой у бассейна часовни. Во главе процессии величаво выступал генерал, неся у живота лакированный образ. Перед ним пятился и отступал оператор, захватывая генерала в кадр. Рядом, пятясь, двигался толстенький телеведущий, весело скалил зубы, что-то язвительно и насмешливо говорил оператору.

Глава шестая

Третий, к кому он отправился, был Красный генерал, известный с тех пор, когда всенародно, на съезде обвинил Горбачева в предательстве. Народ рукоплескал генералу, называл его спасителем Родины. Он командовал военным округом, имел под рукой дивизии, ракеты и танки и строго пригрозил Горбачеву. Это было не похоже на молчание остальных генералов, угрюмо взиравших на разрушение страны. Как молчаливые совы, они сидели на съездах, слушая трескучие речи политиков, уступавших Америке рубежи обороны, сокращавших ракеты и лодки, приводя в упадок великую армию.

Красный генерал, как в мыслях нарек его Хлопьянов, единственный выступил против. Он не повел на Москву дивизии, не нацелил на Кремль ракеты, ни тогда, ни позже, когда в августе пала страна. Отрешенный от должности, оскорбляемый и поносимый победителями, он попытался соперничать с Ельциным, выставил себя на президентские выборы. Хлопьянов, воюя в Карабахе, голосовал за него. Был огорчен генеральским проигрышем. Горевал по поводу наивной бестолковости и легковерия народа, опоенного мухомором лстивых речей, отдавшего себя на гибель Ельцину.

Теперь он отправлялся на встречу со своим любимцем. Ожидал от этой встречи немедленного успеха, понимания с первых слов, приятия и доверия.

Он шагал московскими улицами, стараясь вернуть себе сладостное ощущение любимого города, где каждое лицо, каждый дом, каждый перекресток и угол порождали множество мимолетных переживаний, погружавших его в детство, юность, пору мужания. В то исчезнувшее время, когда суждено ему было родиться среди красных кирпичных фасадов, сырых подворотен, медовых лип на бульваре, в любимой Москве, где он доживет и завершит свои дни.

Он увидел знакомый дом, его многооконный тяжеловесный фасад и слепой торец, который издавна украшало панно, – равнодушный художник, выполняя пропагандистский заказ, изобразил рабочего и работницу, воздевших руки, на которых топорщился колючий искусственный спутник. Панно было из давнишних времен покорения Космоса, состряпано наспех ремесленником и вызывало всегда у Хлопьянова унылую досаду и скуку.

Теперь, приближаясь к дому, он увидел на торце огромные яркие квадраты рекламы. Высотный кран протянул к фасаду косую стрелу, подтягивал вверх еще один нарядный квадрат. Прежнее изображение рабочего и работницы почти скрылось, виднелись ноги работницы в босоножках. Их место занимал бравый, опаленный солнцем ковбой, в широкополой шляпе, в кожаных брюках и безрукавке. Он прикуривал от зажигалки на фоне прерий, и по всему фасаду была начертана огромная английская надпись «Мальборо».

Хлопьянов встал, пораженный. На его город, на его улицу, на его здание, на его блеклую символику и обветшалый облик наносилась огромная яркая метина. Знак чужой страны, чужой силы, чужой победившей воли. На изможденное, усталое, знакомое с детства лицо надевалась яркая мертвая маска, скрывавшая морщины и тени усталости, заслонявшая их неживым выражением вечного благополучия и удачи.

Символика Родины, выполненная торопливо и неталантливо, лишь намекая на заводы-гиганты, производившие спутники, не отражая усилий и великих побед народа, охранявшего и лелеявшего огромную прекрасную страну, эта наивная символика теперь заслонялась знаком чужой победы и чужого господства.

Вместо спутников покоренной стране предлагались сигареты завоевателей. Вместо космонавтов, инженеров и воинов примером для подражания предлагался ковбой. Над завоеванным городом поднимался флаг оккупации. Отныне со всех углов и фасадов, со всех страниц и экранов будут показывать эти символы позора и плена. Чтобы взгляды покоренных постоянно

утыкались в этого бравого, сделавшего свое дело ковбоя, покоровившего другую страну, позволившего себе перекур.

Хлопьянов стоял, задыхаясь от бессилия. Вдоль стены медленно подымался завершающий ломоть рекламы. Покачивался на стальной стреле японского крана. Хлопьянов оглядывался, надеясь увидеть среди прохожих таких же как и он, возмущенных. Но мимо валила толпа, торопились озабоченные люди, и никто не поднимал головы, не замечал, как водружается в московском небе отвратительный знак, совершается казнь родного города.

И такая в нем ненависть, бешенство до слепоты в глазах, застилающая мерзкое изображение, стрелу крана, пробегающую мимо толпу. Ненависть к незримому, захватившему город победителю. Ненависть к живущим в городе предателям, отворившим ворота врагу. Ненависть к рабочим в оранжевых робах, не ведающим что творят, за мзду укрепляющим над своим порогом знак своего позора. Ненависть к толпе, не замечающей своего плена, равнодушно отказавшейся от Родины и свободы.

Он стоял ослепленный, и сквозь пелену ненависти просвечивал мерзкий ковбой.

Он нашел Красного генерала в тесной комнатке сербско-русского общества, где на стенах висели фотографии сербских храмов и копии церковных мозаик с большеглазыми желтолицыми святыми и красовалось изображение вождя боснийских сербов Караджича в окрестностях задымленного Сараева. Красный генерал, загорелый, горбоносый, усатый, вольно развалился в кресле. Его карие глаза скользили по иконам и храмам, останавливались на худощавом верзиле, что сидел перед ним на стуле, шаркая неопрятными башмаками. Поодаль разместился другой человек, плотный и настороженный, выложив на колени стиснутые, словно готовые к удару кулаки. На его скуластом, с русыми усами лице холодно и пытливо синели глаза. Нелюбезно осмотрели вошедшего Хлопьянова.

Хлопьянов представился, сославшись на рекомендацию редактора. Красный генерал пожал его руку своей твердой цепкой рукой, покрытой застарелыми ожогами. Усадил на расшатанный стул, продолжая разговор, вызывая у верзилы довольные смешки. Тот шаркал ногами, крутил головой, и на его камуфлированной засаленной форме краснели нашивки за ранения.

Хлопьянов старался уловить мысль беседы, терпеливо дожидаясь, когда она завершится, и генерал уделит ему внимание.

– Зачем, говорю, вы меня в Москву вызывали? Зачем она мне, ваша Москва? – генерал иронизировал над кем-то, кто вытребовал его в Москву. – У меня на даче самый поливальный сезон. Огурцы зацветают. Хозяйка ругается: «Куда, говорит, тебя несет! Закусь свою проворонишь!» А и правда, сорт так и называется «Закусь». После рюмки откусишь, никакого сала не надо. Вот я и сижу, в этой Москве, и огурцы сняты!

– Это хорошо, товарищ генерал, когда огурцом закусить можно, – похохатывал верзила. – А то все больше рукавом.

Хлопьянову, несколько минут назад пережившему острую ненависть, торопившемуся к генералу, чтобы найти у него понимание, отклик, были неприятны эти похохатывания и пустые слова. На улицах враг развешивает флаги своей оккупации, выставляет знаки своей победы, а здесь в каком-то дурацком культурном центре, среди иконок, церквушек сидит боевой генерал. Управляет не армиями, не отрядами мстителей, а говорит необязательные пустые слова. Неужели это он в дни проклятого августа, единственный среди генералов, поднял по тревоге свой округ, вывел из казарм войска, готовился идти на Москву, за что и был после провала московской затеи изгнан из армии. Неужели это он – об огуречных грядках?

– Хочу себе баньку скатать, – продолжал генерал, ухмыляясь, отчего усы его топорщились. – Завезли мужики хорошую древесину. Ошкурили, начали рубить, чтобы к осени стояла. Чем еще заниматься на пенсии? Баньку истопил, лафитничек пропустил, попарился, еще пропустил. Хорошо в предбанничке посидеть, из самоварчика чай похлюпать!

Верзила в камуфляже вертел от наслаждения шеей, сладко, по-жеребьячи, всхрапывал, словно уже сидел в душистом предбаннике, и в открывшейся на мгновение двери – сизый пар, свист веников, стенания и оханья, проблеск голых распаренных тел.

– Жену родную не надо, товарищ генерал, а баньку давай!

Хлопьянов нервничал. Не за этим он торопился к генералу. Не это собирался от него услышать. Не таким желал увидеть своего кумира. Неужели это он, Красный генерал, еще год назад выходил на Манежную площадь, в изморози, синих прожекторах. Поднимался над черной неоглядной толпой, заливавшей площадь до стен Кремля. Блестя золотыми погонами, с кузова грузовика хриплым мегафонным голосом звал народ к восстанию. И толпа внимала вождю, славил его, повторяла тысячеголосое его клокочущее грозное имя. Неужели это он – о каких-то баньках и вениках?

– У меня сейчас такая жизнь, другой не хочу! Рыбу из окна ловить можно. Старица к лету подсыхает, в ней омутки остаются, а в омутках щуки! Вот такие! – генерал раздвинул коричневые обгорелые ладони, повернул горбоносую голову от одной руки к другой, словно оглядывал пятнистую рыбину с липким хвостом и узкой костяной головой. – Жена говорит: «Ступай, отец, налови на уху!» Спиннинг беру, закидываю с огорода, и пока ловлю, жена кастрюлей гремит, воду кипятит, лавровый лист засыпает.

– А у нас щук, хоть вилами коли! – гоготал верзила. – Чуть лед вскроется, они у коряг играют. Вилы бери и коли!

Оба, довольные собой, похохатывали. В карих прищуренных глазах генерала горели огоньки удовольствия.

«Неужели это он? – разочарованно думал Хлопьянов. – Невзоров снимал его у обелиска погибших воинов, и Красный генерал клялся вырвать страну из рук оккупантов. „Он, Хлопьянов, с другими офицерами штаба голосовал за своего генерала“. Неужели это он – о каких-то рыбалках и щуках?»

Хлопьянов нервничал, огорчился. Встреча, к которой он так готовился, не сулила успеха. Перед ним сидел человек, ушедший из политики, довольный своей генеральской пенсией, забывший о бедах Отечества.

Дверь растворилась, без стука вошли двое. Усатый охранник вскочил, набычил голову, нацелил кулаки для удара. Узнавая вошедших, расслабился, распустил в мышцах узлы и пружины. Опустился на стул, оглядывая всех беспокойными глазами, которые на мгновение теплели, когда останавливались на генерале.

Один из вошедших, лысоватый, большелобый, с рыжей, кудрявой на скулах бородой, был возбужден. Уже с порога порывался говорить, словно только что оставил собрание, где велся острый раздражительный спор. Быстро обошел сидящих, протягивая свою мягкую потную руку, заглядывая в лицо выпуклыми слезящимися глазами. Когда здоровался с Хлопьяновым, наклонил к нему свой неопрятный пиджак со значком депутата.

Хлопьянов узнал его. Это был Константинов, известный дерзкими выступлениями в парламенте. Вместе с друзьями, такими же молодыми и яростными, атаковал микрофон, будоражил парламент, дерзил президенту, пререкался со спикером, докучая желчному язвительному Хасбулатову.

Узнавая Константинова, видя его вблизи, Хлопьянов поразился его усталому виду, нездоровому цвету лица. Едкая раздражительность проявлялась в конвульсиях рта, в бегающих с красноватыми белками глазах.

Второй, крупный, застенчивый, похожий на провинциального преподавателя, держал в руках пухлый сверток. Издали поочередно всем поклонился.

– Ну что же вы не пришли на политсовет! – упрекал генерала Константинов. – Все говорят: «Фронт! Фронт!» А ведь я не могу один фронт держать! Его прорвут! Мне тылы нужны!

Константинов, – и это побуждало Хлопьянова искать с ним встречи, – был лидером «Фронта национального спасения», организации, собиравшей на площадях многотысячные митинги, где над толпой колыхались коммунистические красные флаги, черно-золото-белые имперские стяги, качались церковные хоругви и портреты Ленина, пестрели транспаранты, прославлявшие Сталина, царя и маршала Жукова, проклинаящие сионистов, Ельцина, демократов-предателей. На этих пестрых, как лоскутное одеяло, митингах, на трибуне появлялся Константинов, по-ораторски картинно вздымал кулак, произносил свои радикальные трескучие речи, извергая из толпы восторженные громы и рокоты.

Теперь он появился в комнате, внося за собой электрические разряды то ли недавнего митинга, то ли незавершенного спора.

– Наш «Фронт», согласитесь, не ширма для коммунистов! – обратился он к Красному генералу, требуя его сочувствия. – Коммунисты пользуются нами, как прикрытием! Делают, как всегда, свое партийное дельце! А когда сделают, выкинут нас, как попутчиков! Хорошо хоть не расстреляют! Бабурин возмущен до глубины души, хочет выйти из «Фронта»! Боюсь, это кончится грандиозной склокой! Прошу вас, повлияйте на своих друзей-коммунистов!

Генерал кивал, шевелил усами под горбатым казачьим носом. Но было видно, что ему доставляет удовольствие раздражение Константинова, генерал не любит его, не станет ему помогать, не вмешается в изнурительную интригу, предпочитая оставаться среди своих рыбалок и грядок.

– Сейчас раскол губителен! – Константинов вдохнул ртом воздух, обнажая в бороде влажные зубы. – Две трети парламента наши! Хасбулатов начинает нас слушаться. К осени разразится кризис, и мы скинем Ельцина. Я прихожу к Хасбулатову не от «красных» и не от «белых», а от «Фронта»!

Генерал одобрительно кивал, соглашался. Казалось, восхищался политической миссией Константинова, пламенного трибуна, организатора и вождя. Но в коричневых глазах генерала горели едва заметные огоньки смеха. Словно он ведал нечто такое, что обесценивало роль Константинова среди московской суеты и интриг. Он не пускал Константинова в свой мир, не приближал его к цветущим огурцам, над которыми жена наклоняла лейку, летучий серебряный ворох с шелестом сыпался на зеленые листья, и пчела, недовольно жужжа, прорываясь сквозь струи, покидала желтый цветок.

– Руцкой наконец пошел на таран! – Константинов засмеялся, довольный шуткой, где обыграл недавнее летное прошлое вице-президента. – Сначала он летал на сверхвысоких, а теперь спустился на сверхнизкие! И молотит Ельцина из всех орудий! После того, что он наговорил президенту, он уже к нему не вернется, останется с нами до последнего! Надо объединяться вокруг Руцкого! Убедите коммунистов, пусть не дурят и играют общую партию!

Генерал покусывал усы, смотрел на Константинова. Но Хлопьянову казалось, видит не его, а зеленый омут, глянцевиные листья кувшинок, и рыба в брызгах вырывается из воды, сгибается, трепещет на траве, зарывается в стебли, и генерал ловит ее своими обгорелыми, в старинных ожогах, руками.

– Через неделю конгресс «Фронта»! Вы должны непременно выступить. Ваш призыв к единству будет услышан. Нам нужно продержаться до осени, сбросить Ельцина, а уж потом разберемся, пусть даже перестреляем друг друга! – Константинов хрипло рассмеялся сквозь мокрые зубы. – Я лично готов на любую роль, лишь бы выиграло общее дело!

Генерал доброжелательно молчал, уступая Константинову все пространство разговора. Испытывал удовольствие от его резких откровенных признаний. От вида его рыжеватой вьющейся бороды, лысоватого лба, выпуклых болезненных глаз. Но дальше этой комнаты, Москвы с митингами, парламентскими скандалами, с разоблачениями Руцкого и лукавыми ухмылками Хасбулатова, дальше этого видимого и понятного мира генерал не пускал Константинова. Хлопьянову, наблюдавшему их разговор, казалось, что в глубине души генерал презирает Констан-

тинова. Их разделяет огромное непреодолимое несходство. И чтобы не обнаружить его, генерал сохраняет на лице мнимое благодушие.

– У нас на конгрессе будут присутствовать сербы. Мы хотим вас просить вручить нашим сербским братьям православное знамя. Точную копию того, с которым сто лет назад русские освобождали Балканы, – он повернулся к своему спутнику, все это время стоявшему с пакетом поодаль. – Разверните, пожалуйста, знамя!

Человек, похожий на сельского краеведа, стал разворачивать сверток. В складках мятой бумаги сочно, подобно маковому цветку, вспыхнула малиновая ткань. Краевед, волнуясь, гордясь своей ролью, стелил на полу знамя. Оно заняло все свободное пространство комнаты. Лежало, парчовое, малиновое, с вышитым золотым крестом, с серебряной славянской надписью: «С нами Бог»! Все любовались знаменем, а краевед счастливо рассказывал:

– Сей флаг, а вернее – предтеча оно, был сшит на средства самарского купечества и дворянства. Вручен добровольческим отрядам, влившимся в русское воинство, освобождавшее Балканы от турок. Мы со своей стороны сделали точную копию того славного знамени. Отыскали выкройку, купили на народные деньги индийскую парчу, заказали у златошвей на патриаршем подворье серебряное и золотое шитье. Осветили знамя в кафедральном соборе. И вот я привез сей стяг, выполняя волю патриотических граждан Самары, с тем, чтобы вручить его нынешним русским добровольцам, воюющим в православной Сербии за общеславянское дело. Примите сей дар, и да поможет он сокрушить агарян и проклятых латинян, посягнувших на православие!

Генерал любовался знаменем. Наклонился, потрогал золотистую бахрому. Верзила в камуфляже с нашивками за ранение поджал под стул неопрятные башмаки. Озирал прямоугольник знамени, золотое распятие, серебряную надпись.

– Передам, – сказал он. – Через неделю возвращаюсь в Боснию. Передам знамя нашим «вукам». Вручу перед строем. Пусть каждый с оружием, на коленях, целует знамя. А потом с ним в бой на Сараево! – он неуклюже стал на колени, стукнув о пол костями. Приподнял на своих лапищах край полотнища, словно держал в пригоршнях малиновую воду. Приблизил губы, словно собирался пить. Поцеловал знамя несколько раз, – в бахрому, в серебряные буквы, в золотой крест.

– Мы брали Вуковар, чистили его от хорватов. Там был такой перекресток, между церковью и сквером. Простреливался, никак не пройти. Сербский взвод почти весь poleg. Замком-взвода мне говорит: «Братушки русские, вам идти!» Я гранату взял, помолился, говорю своим «вукам»: «Прикрывайте, а убьют, матери напишите!» Пошел вокруг сквера, а сам молюсь: «Ангел Хранитель, заслони, защити!» Прокрался к пулемету с тыла, гранату метнул. Не видел, как взорвалась, почувствовал толчок в плечо. Очнулся, лежу в церкви, вокруг меня «вуки» стоят, а над головой на стене ангел нарисован, и в плече у него дыра от пули. Это он, Ангел Хранитель, пулю мою в себя принял, а меня жить оставил! Вот теперь и живу!

Он поворачивал ко всем свое наивное простое лицо, словно удивлялся тому, что жив.

– Вот бы вам, товарищ генерал, в Боснию с нами отправиться! – сказал он. – Вот бы это знамя с собой повезти! Вас бы там приняли на «ура»!

– Все может быть, – сказал Константинов. – Может быть, прямо с конгресса, да и в Белград! Откомандируем вас от имени «Фронта». А сейчас на минуту отойдем, пошепчемся, – он взял под руку генерала, отвел к окну, и они стояли, заслоня свет, и лежащее знамя в тени стало еще сочнее и лучистей.

Хлопьянов смотрел на флаг, и его не оставляло разочарование, близкое к горечи. Эти увлеченные люди шьют копии старинных знамен, в то время, как знамя страны сорвано с древка. Боевые, овеванные Победой знамена свалены в грязь. Над покоренной Москвой развевается флаг оккупации. Военные люди стреляют, получают ранения на чужой войне, а здесь, в покоренной России, не видно бойцов, ни единая пуля не настигла предателя. Действуют опе-

реточные бумажные «фронты», шьются батистовые флаги, движутся крестные ходы, и на все взирает неуязвимый хохочущий враг.

Константинов с генералом вернулись от окна. Краевед любовно и бережно сворачивал малиновый стяг. Простились и ушли, прихватив с собою верзилу. Хлопьянов подумал, что теперь они останутся с генералом вдвоем и смогут побеседовать. Но Красный генерал не дал ему говорить.

– Если есть время, давайте съездим на завод. Там у меня друг работает. Строят «Бураны» для Космоса. Не каждому показывают. По дороге все и обсудим.

Кивнул усатому охраннику, вывел Хлопьянова к машине.

Охранник сидел за рулем, и его пшеничные усы и синие недремлющие глаза отражались в зеркале. Красный генерал и Хлопьянов поместились на заднее сиденье. Генерал был задумчив. Хлопьянов, боясь, что им недолго оставаться вдвоем, торопился изложить собственные взгляды.

Он опять предлагал свои услуги, свой боевой опыт, свои связи в военкоматах для формирования патриотических отрядов. Молодые люди через военкоматы направляются на срочную службу в спецназ и ускоренно, через шесть-девять месяцев овладевают навыками вооруженной борьбы. Становятся ударной силой оппозиции.

Генерал молча слушал, покусывал жесткие усы, смотрел сквозь стекло, за которым мелькали торговые киоски и лавки с разноцветными ярлыками заморских соков и вин, и народ, как пчелы, роился в торговых рядах. Хлопьянову было неясно, слушает генерал или нет.

Хлопьянов развивал свои мысли. Он бы мог подобрать из боевых офицеров спецназа инструкторов для рабочих дружин. На пикниках, на загородных сходках, подальше от глаз дружинников станут учить приемам вооруженной борьбы. Действия малыми группами в условиях уличных беспорядков. Сопротивлению войскам и милиции, разгоняющим демонстрантов. Охране и защите лидеров, выступающих на митингах.

Генерал щурил коричневые глаза, покусывал усы, смотрел за окно, где возводился новый квартал. За высокой решеткой строились особняки и дворцы, с бассейнами, башнями, зимними садами, под медными кровлями пентхаузов, с белыми чашами космической связи. Миллиардеры возводили свой собственный город, обнесенный изгородью, сторожевыми вышками, проводами с электрическим током. А мимо безропотно, не возмущаясь, торопился московский люд, озабоченный, понурый, покорный.

Хлопьянов разяснял генералу, как можно без единого выстрела, не затратив ни рубля, взять склады оружия. В полупустых гарнизонах служили знакомые офицеры, которые закроют глаза на эти захваты. Малыми партиями оружие будет храниться на подмосковных дачах, в хиреющих пансионатах, дожидаясь боевиков-патриотов.

Генерал внимал. Его глаза следили за пролетающей мимо церковью, потемнелой, кирпичной, в строительных лесах, со сквозным, еще не покрытым куполом. Храм возрождался среди свалки, уродливых мятых фургонов, покосившихся под колючей проволокой заборов. При входе мелькнул веночек бумажных цветов.

Хлопьянов предлагал генералу приобрести радиостанцию, оставшуюся в арсеналах военной разведки. Перемещаясь на колесах, мобильная, экономная, она сможет быстро сворачивать и разворачивать антенну, менять дислокацию, вещать на соседние с Москвой регионы. Прорывая информационную блокаду, предоставлять эфир виднейшим оппозиционным лидерам.

Генерал смотрел, как проплывает за окном реклама банка. Повернулся к Хлопьянову:

– Мне жена говорит: «Ты, говорит, в августе чудом от тюрьмы отвертелся. Сиди тихо, а не то мне до конца жизни передачи носить!» – И опять отвернулся к окну.

А у Хлопьянова опять, – неужели это его кумир, своим рыком и окриком подымавший полки и дивизии, сотрясавший стотысячную толпу, внушавший врагам ужас, неужели этот усталый человек и есть Красный генерал?

Они подкатили к заводу, огромным корпусам, окруженным туманными испарениями. Завод на окраине Москвы, среди ровных пустырей, высоковольтных мачт, подъездных путей, казался плоскогорьем, сотворенным не людьми, а самой землей. Его угрюмая красота и величие обрадовали Хлопьянова, вернули ему давно забытое ощущение мощи.

В проходной, среди автоматических турникетов, контрольных устройств, строгих, в военной форме вахтеров их встретил главный инженер. Невысокий, белесый, с розовыми оттопыренными ушами, заостренным утиным носом. Радостно устремился к Красному генералу, пожимал ему руку – ладонь, запястье, локоть, словно хотел убедиться в крепости протянутой генеральской руки.

– Степанов, – представился он Хлопьянову, перенося и на него свое приятие и радость.

– Вы, Григорий Антонович, проведите нас, покажите свое хозяйство, – сказал генерал, отвечая инженеру тем же дружелюбием, предполагавшим давнишнее проверенное знакомство, неподвластное случившимся бедам и разрушениям. – А уж потом мы с вами вдвоем потолкуем.

Цех, где они оказались, напоминал длинное, уходящее вдаль ущелье, окруженное отвесными склонами, на которых топорщились металлические кустарники, железные кущи, бугрились уступы и выпуклости. Металлическое высокое небо в голубоватых лучах, дымных тучах было наполнено грозovým электричеством. В мгновенном проблеске солнца мелькала голубиная стая, и казалось, вот-вот на голову прольется тяжелый ливень. Дно ущелья было увито разноцветными кабелями, проводами, шлангами, словно расползлись корневища огромного дерева. И само оно возносило огромный железный ствол, распуская железные ветви, сучья, отростки, в которых, окруженное множеством нитей, белоснежное, как крылатая бабочка, помещалось изделие. Космический корабль «Буран», отточенный, совершенный, в мягких овалах, застыл на стапелях. И поодаль, точно такие же, два других корабля, застыли на железных ветвях.

Ближний, толстолобый, с влажным блеском кабины, с могучими крыльями, покрытыми белой пылью, с мясистым чешуйчатым фюзеляжем, был еще недостроен. Лоснился сочными маслами и лаками, только что вылупился из кокона, высыхал на свету, пульсируя туловом, неокрепшими, пробующими воздух перепонками.

Второй, чуть поодаль, сохраняя сходство с бабочкой, напоминал огромного белоснежного ангела. Парил, распустив тугие пернатые крылья в доспехи льдистые сияющие ризы Черноокое лицо окружали нимбы и радуги, под белыми покровами таилось молодое стройное тело, бугрились мускулы. Рука сжимала голубоватое копье.

Третий, вдалеке, был спущен со стапелей, казался отдыхающим на спине великаном. Утомленный, проделав богатырскую работу, он вытянул громадное тело, сдвинул стопы, чуть развел мускулистые руки. Его дремота была краткой передышкой перед новыми трудами и битвами, в которые кинется он по тревожному сигналу и свисту.

Хлопьянов шел по цеху, поднимая голову к туманным стальным перекрытиям. Купался в потоках света, любовался кораблями. Испытывал давно забытое чувство восторга, уверенности, ощущал себя частью осмысленного, одухотворенного мира, откуда изгнали, бросили в пучину бессмысленности и распада.

– Вот наш завод, – главный инженер остановился у космического корабля, нависавшего над ними, как ледник. – Таких заводов больше нет на земле. Может, смысл всей истории в том, чтобы люди сумели построить такой завод!

Хлопьянов созерцал парящее изделие, сотворенное из света и сияющих сплавов. Испытывал головокружение. Присутствие белоснежной громады предполагало матку, в которой созревали и вынашивались эти аппараты. Своими размерами, формами, наполнявшей их сущ-

ностью они были нацелены на мироздание, переносили в Космос земные устремления людей. Этой маткой, взрастившей «Бураны», был Советский Союз, его Родина. Из своих непомерных пространств, занимавших половину земли, страна направила ввысь отточенную вертикаль, – эскадрильи белых кораблей. Ощущение этой вертикали порождало у Хлопьянова головокружение.

– Этот корабль, да будет известно, строили две тысячи заводов и восемьсот научных институтов. Точнее, его делали в каждой школе и в каждой семье. Потому что такое под силу только всему народу, который именовался советским. – Главный инженер, маленький и веснушчатый, указывал на корабль, как экскурсовод в Кремле указывает на Василия Великого. – В этом корабле сконцентрировалось наше национальное прошлое, весь нынешний потенциал и еще неосуществленное будущее. Если произойдет глобальная катастрофа и исчезнет вся земная цивилизация, но уцелеет один этот корабль, то из него может возродиться вся земная жизнь, от древности до сегодняшних дней.

Хлопьянов понимал его. Корабль казался белокаменным храмом, где по сводам, столпам и стенам были начертаны драгоценные фрески, хранились иконы, лежали древние скрижали и свитки. Он был вместилищем заповедей и заветов, огромной молельней, откуда тысячу лет возносилась молитва о Рае.

И он же, корабль, в бессчетных агрегатах, приборах, научных открытиях, был лабораторией, где из бестелесного, еще несуществующего времени создавалось будущее. Корабль в буре огня, взлетая с космодрома, превращал это будущее в живую историю.

Хлопьянов посмотрел на Красного генерала. Тот стоял побледневший. Казалось, он испытывает страдание, которое пытается скрыть.

– Этот корабль строился, как гарантия того, что мы не погибнем, – продолжал инженер. – Он сконцентрировал в себе наше могущество, возможность действовать в будущем. Из Космоса защищать нашу суверенность, выбранный нами исторический путь. Эскадрильи «Буранов» переносили борьбу в космическое пространство, а наше превосходство делало нас непобедимыми.

Они двигались по цеху, выходя из-под шатра одного челнока, попадая под белый плавник другого. Хлопьянов, военный разведчик, был участник борьбы и соперничества, в которую нацелились челноки. На сухопутных театрах, где копились группировки и армии, в акваториях океанов, где плавали флоты и эскадры, на орбитах, где вращались боевые спутники, в подземных штабах и бункерах, управлявших ракетными пусками, ежесекундно проходили невидимые столкновения, незримые миру стычки – идей и усилий, проектов и планов. Подводные лодки, преследуя друг друга, рыскали по всем океанам. Антенны космической связи щупали континенты, фиксируя взлеты ракет. На полигонах, в горах и пустынях гремели подземные взрывы. Разведка проникала в военные центры противника. В саваннах и джунглях, в сухих азиатских ущельях разгорались конфликты и войны. И он, Хлопьянов, задыхаясь от гари, бежал по бетонке, огибая липкое пламя, посылал автоматные очереди в каменный склон, и убитый водитель, сгорая, выгибался в огне.

Белые челноки нахмурили тяжелые лбы, напрягли тугие подбрюшья. Были нацелены в эту борьбу. Обеспечивали стране выживание.

Шагая под белым треугольным крылом, Хлопьянов опять взглянул на генерала. Тот был бледен, на скулах играли желваки. Он подымал лицо к челноку, жадно вдыхал, но ему не хватало воздуха, и он задыхался.

– Когда его впервые пускали, – инженер протянул руку к кораблю, словно хотел погладить его белое голубиное оперение, – на космодром съехались лучшие люди страны. Ученые, генеральные конструкторы, командующие войсками, министры. Здесь были представители всех существующих на земле наук, словно это был ковчег, куца загружались все знания. Когда он взлетел и сорок минут носился вокруг Земли, мы стояли у карты мира, отслеживали его тра-

екторию, и я вам признаюсь, я Богу молился. Когда он сел в сопровождении перехватчиков, и мы обнимались, лобызались, поздравляли друг друга, мы понимали, что с этой минуты живем в другом измерении, в другой эре!

Хлопьянов слушал его, представляя предзимнюю белесую степь Байконура, бесчисленные клубки перекасти-поля, гонимые ветром, как табуны диких коз. Сквозь сухие колючие травы, летящий снег и песок – далекое ртутное пламя, свеча огня, отлетающий рокот и гром. Как шаровая молния, корабль ушел сквозь тучи, и пока он летал по орбите, все так же, как тысячу лет, катились комья мертвой травы, струились сухие поземки. Челнок, облетев планету, врывался в атмосферу, как малиновый шар огня, снижался как мираж в стеклянной воздушной сфере. Коснулся бетона, вырвал клуб черного дыма, стряхивал с крыльев прах сгоревшего Космоса. Стоял на бетоне, остывая, источая запах живой утомленной плоти, одушевленной рукотворной материи.

Генерал всасывал воздух сквозь зубы. Лицо его выражало страдание. Хлопьянов понимал природу страдания. Оно охватывало его самого, превращало недавнюю радость в невыносимую боль.

– Нас остановили! – сказал инженер. – Проект «Буран» закрыт. Они больше никогда не взлетят! Ельцин решил, что России они не нужны! Америке нужны, а Россия обойдется без них. Предатели и мерзавцы уничтожили русский Космос. Все заводы стоят, закрыты научные центры, распущены коллективы рабочих, и больше их не собрать. На завод приходят американцы, фотографируют изделия, вывозят документацию. Их привели академики-предатели, генералы-предатели, дипломаты-предатели. Мой друг, начальник отдела, не вынес, пустил себе пулю в лоб. Теперь и мой черед!

Хлопьянов чувствовал, как в груди откупорились скважины и из них била боль, ударили жаркие красные ключи. Белый корабль на мгновение стал красным. Чувство непоправимой беды, бессилие и беспомощность были наподобие обморока. Но он одолел его, возвращался в синеватый металлический свет, в котором застыли мертвые огромные бабочки. Их могущество, их исполинская сила были видимостью. Сухие известковые чехлы, наполненные трухой и гнилью. Красный генерал, без единой кровинки, шагал, наклонившись вперед, словно в него дул и давил слепой ураган.

– А этот корабль куда? – спросил генерал, указывая на третий, последний в череде «Буранов» челнок. Спущенный со стапелей, корабль стоял на бетоне, уперев разлапистые тугие шасси. Взятый на буксирную штангу, прикрепленный к работающему, извергающему дымки тягачу, он медленно двигался по цеху к далеким воротам, сквозь которые открывался перламутровый прогал. – Куда увозят челнок?

– Его купил у завода один банкир, еврей-толстосум. Хочет поставить его на каком-нибудь людном месте. Сделать в нем казино или ночной клуб. Директор решил продать. Хоть какая-то зарплата рабочим!

«Буран», медлительный, усыпленный, с темной повязкой на глазах, послушно следовал за тягачом. Его вывозили на поруганье, на публичную казнь, на закланье. И где-то уже кипела народом площадь, собирались зеваки, обступали эшафот. Готовились ахать и ужасаться, глядя, как палач разрубает на части могучее белое тело, вышвыривает на доски трепещущие ломти.

– Убивать их, обсосков! – тихо, почти шепотом, сказал генерал. – Стрелять их буду своими руками! Поклялся и клятву сдержу!

Он был серый, с полузакрытыми глазами, с жесткой щеткой усов. На лице отчетливо проступили оспины и рубцы давнишних ран и ожогов.

Они уезжали с завода. В машине, сидя за сутулой спиной охранника, генерал сказал Хлопьянову:

– Я вас понял. Дней через десять дам ответ. Вы слышали, будет конгресс «Фронта национального спасения». Найдете меня, потолкуем.

Он умолк, нахохлился, погрузился в тяжелую дрему. Глаза были прикрыты коричневыми усталыми веками.

Глава седьмая

Видение, моментальное, как проблеск в зрачках. Песчаный откос над рекой, желтый сыпучий песок, осколок перламутровой раковины, и, толкаясь голыми пятками, сволакивая жидкую осыпь, кинуться в воду, ударить горячей грудью, вонзиться в темный холод, в блуждание зеленоватых лучей. Но это лишь миг, видение. Близко, у самых глаз ее белое плечо, дышащая грудь, шепчущие жадные губы.

И снова, как наваждение из глубин разбуженной памяти. Поле с сырой стерней, смятый цветок ромашки, печаль одинокой души, затерянной среди холодных равнин. Но вдали в небесах – движение света, упавший на землю луч зажег бугры и дубравы, Прилетел, примчался, преобразил весь мир в красоту. Золотое сверканье стерни, далекая белизна колокольни, цветок драгоценной ромашки. Но это лишь миг единый. Ее волосы на подушке. Горячая от поцелуев щека. Скользнувшая по губам сережка.

И опять случайное, примчавшееся из далеких пространств видение. Белый стекленеющий наст. Розовая яблоня в голом саду. Морозная синь в ветвях. Хрупкий след пробежавшей лисицы. Из горячей избы, в одной рубашке, чувствуя, как жалит мороз, он смотрит на розовый сад, на легкий проблеск лыжни, на летящую в зеленоватом небе сороку. Возникло и кануло. Ее влажные раскрытые губы. И он не дает ей шептать, вдыхает в нее свой жар.

Летнее широкое поле, одинокий могучий дуб. Он издали видит, как в черную крону снижаются быстрые птицы. Стая витютеней скрылась в ветвях, среди листьев, невидимые, бьются их жаркие после полета сердца, мерцают круглые розовые глаза. Он хочет увидеть птиц, идет через поле к дубу. Густая трава под ногами. Тень могучего дерева. Внезапно, как взрыв, в громе, плеске из разорванной кроны взлетают птицы, вынося за собой ворох лучей и крыльев, уносятся к солнцу. Темная комната. Без сил, без движений они лежат, касаясь друг друга. Ее рука с прохладным колечком на его бездыханной груди.

Город, накаленный за день, не остывал и ночью. Хранил в своих каменных теснинах душное дневное тепло. Горячий воздух скатывался с железных кровель, сливался по желобам и водостокам. Машины скользили в бархатной жаркой тьме, как в воде, проталкивали огни сквозь вязкую непрозрачную толщу.

Они лежали у открытого, с отброшенной занавеской окна. Он чувствовал грудью языки жара, сквозь прикрытые веки различал быстрые серебристые отсветы. То ли отражения фар, то ли зарницы далекой, не приближавшейся к городу тучи.

– Будет гроза, – сказала она. – К утру будет дождь. Проснемся, а за окном дождь.

– Хочу, чтобы утром вышли вместе на улицу, и был дождь. Ты раскроешь зонтик, мы пошлепаем под дождем, двое под одним твоим зонтиком.

– Хочешь пить? У меня есть вкусный сок. Принесу?

– Не хочу, чтоб вставала. Хорошо лежать. Как в Ишерах, – только небо в звездах, и море шумит.

– У меня есть черешня. Принесу? Будешь лежать и есть.

– Не хочу, чтоб ты уходила.

Он дорожил неподвижностью, остановившимся временем, недвижной далекой тучей, застывшей на подступах к городу. Этой краткой тишиной перед бурей, неизбежными злоключениями дня.

– Я совершил первые встречи, побывал у людей, которые называют себя оппозицией, – он говорил, как привык говорить с ней в прежние времена. Находил наслаждение в самом разговоре, выговариваясь и лучше понимая себя. Искал в ее ответных суждениях не прямые, но верные подтверждения своим переживаниям и догадкам. – Все эти люди сделаны из разного

теста. Не понимаю, как можно испечь из них общий пирог. Одни, коммунисты, верят в Царство Божие на земле. Другие, монархисты, грезят абсолютной монархией. Те видеть не желают красный флаг и звезду. Те называют двуглавого орла чернобыльской птичкой. Мой знакомый редактор Клокотов добрый идеалист и романтик. А Красный генерал готов рубить головы. И все они не хотят меня слушать, не готовы воспользоваться моим опытом и умением. Риторы, проповедники, не расположены к организаторской конспиративной работе. А без этого нет победы!

– Зачем рубить чьи-то головы? Зачем тебе конспирация? – она протестовала, умоляла его. Вела рукой по его лбу и бровям, словно отводила дурные мысли, прогоняла наваждение. И он вслед за ее исчезающими пальцами увидел березовую прозрачную ветку, и сквозь мелкие листы и сережки голубой ветреный пруд и белую стаю уток. – Мало ты воевал? Мало боролся? Теперь ты со мной. Никто за тобой не гонится, никто не стреляет. Зачем тебе оппозиция?

– Может, я неправильно высказался. Все они прекрасные люди. Лучших сегодня и нет. Готовы жертвовать, не помышляют о личном. Но они не способны к серьезной борьбе, без которой невозможна победа. – Он не удерживал ее проскользнувшую руку, утекавшее следом видение пруда и уток. Знал, рука ее снова коснется лба и бровей и следом вернется видение.

– Ты мне сказал, что у Клокотова познакомился с отцом Владимиром. Удивительное совпадение! Я рассказывала ему о тебе, а он: «Да я его знаю!» Он сказал, что ты на перепутье, не знаешь куда податься. Хочет повести тебя к отцу Филадельфу. Замечательный монах, предсказатель. Он тебя научит, что делать.

– Да я как-то далек от этого, – он осторожно отказывался, не желая ее огорчать. Боялся задеть в ней нечто ему непонятное, но для нее драгоценное и живое. – Далек от церкви, от Бога. Наверное, чувствую его, догадываюсь, что он есть. Но жизнь вела меня совсем другими дорогами. Вот природа – это и есть мой Бог! В нее верую, к ней обращаюсь, в ней нахожу все ответы. В ней для меня и Бог, и Родина, и бессмертие. А храм, купола? Издали смотрю, как белеет церквушка, и на сердце теплеет.

– Ты к Богу еще не пришел. Но ты обязательно придешь! Ты пережил такое, совершил такое! Одна половина твоей души сгорела, а другая ищет, на что опереться. Хочешь опереться на то, что само пошатнулось! А ты соверши над собой усилие, пойдешь к отцу Филадельфу. Он найдет для тебя особое слово. Ты услышишь, согласишься!

– Не знаю, – сказал он, пугаясь ее страстности, ее настойчивых уверений, которыми она уводила его от намеченной цели. – Должно быть, у меня есть моя вера или мое суеверие. На войне, например, перед боем не бреюсь. Или не фотографируюсь у борта вертолета. Или не беру с собой в бой гильзу, куда замуровано мое имя и личный номер. Обещаю кому-то, наверное Богу, если выживу, сделаю какое-нибудь доброе дело, отстану от какой-нибудь скверной привычки. Но ведь ты говоришь о другом.

– О другом! Я говорю о чуде, которое преображает угрюмый, злой, отвратительный мир в красоту и любовь! Это чудо совершилось две тысячи лет назад, и каждый раз совершается, чтобы мир не упал. Когда Христос въезжал в Иерусалим на белой ослице, ему под ноги стелили ковры и кидали розы. И он каждый раз въезжает в город, и стены города не падают. Он въедет в Москву, и она сохранится. Я хожу в церковь к отцу Владимиру и молюсь, за Москву, за Россию, и за тебя. За тебя я ставлю свечу.

– За меня? О чем же ты просишь?

– Когда ты воевал, я молила о твоём спасении. Чтобы тебя не убили. Чтобы ты вернулся ко мне. Чтобы любил меня. Чтобы тебе было легче. Однажды, когда ты улетел на Кавказ и от тебя долго не было писем, я пошла в церковь, купила свечу и хотела поставить перед Богородицей. Там уже горело много свечей, стояло много народу. Я никак не могла пройти, меня не пускали. Одна старуха рассердилась на меня, что-то злобно сказала. До сих пор помню ее скрюченный нос и желтый зуб, как у Бабы Яги. Я прошла и хотела поставить свечку. Но вдруг в церкви

пахнул ветер, пламя свечей качнулось ко мне, и я загорелась. Платье на мне загорелось, платок. Все стали меня тушить. А потом ты написал, что был ранен, лежал с ожогами в госпитале. Наверное, твоим огнем и меня опалило.

– Горел в бензовозе, когда попали в засаду.

В ночной московской квартире, среди бархатного теплого сумрака, вспомнил, – ущелье в районе Гянджи, застрявшая колонна, и один за другим вспыхивают свечой бензовозы. Разорванный наливник стал прозрачный, малиновый, с черной личинкой водителя, и он отдирает от себя клоч липкой горящей одежды, скатываясь в сорный кювет.

– Знаю все твои раны, – сказала она, – Пусть новых больше не будет.

Она наклонилась над ним, касалась губами его груди, тех мест, где оставались ожогов. В эти обгорелые лунки слетали невидимые прохладные капли, остужали, исцеляли. Словно летний дождь проливался ему на грудь. Он закрыл глаза, лежал под березой, под ее мокрыми пахучими ветками, и из тучи сыпались тонкие прохладные проблески, орошали его грудь.

Она целовала его раны, – простреленное плечо, куца вонзилась автоматная пуля, оставив косую зарубку, и откуда она вышла, нанеся крестообразный рубец. Бедро, сточенное острой кромкой стального люка, вдоль которого проволокла его взрывная волна, вышвыривая на песчаный откос. Невидимые у висков надрезы, оставленные осколком гранаты. Он чувствовал прикосновения ее губ. Ее поцелуи порождали видения, словно на дне глазниц возникали разноцветные отпечатки ее поцелуев.

Поцелуй, – и утреннее ледяное оконце, заиндевелые гроздья рябины. В прозрачном безлистом дереве длиннохвостая легкая птица. Скользнула, вспыхнула стеклянно на солнце, качнула кисть замороженных красных ягод.

Поцелуй, – и заснеженная изумрудная озимь. Рука касается снега, тонких зеленых ростков. И на розовой мокрой ладони ржаное малое зернышко с нежным пучком корней, кристаллики льда и снега.

Поцелуй, – и черная лесная дорога, промятая полная воды колея. Он идет босиком, раздвигая синие густые цветы, расплескивая топь. Вышел на поляну, и в пальцах ноги застряла нежная лесная геранька.

– Пусть у тебя больше не будет ран. Хватит тебе воевать.

Он лежал, чувствуя сквозь окно тяжелые языки зноя. Они заносили в комнату запахи раскаленных крыш, душных пустых водостоков, поникших, иссыхающих от жара деревьев. Все так же бесшумно мерцала остановившаяся на подступах к городу гроза. В неподвижном времени, среди остановившихся окаменелых мгновений он чувствовал две половины мира, две возможности жить, перед которыми замерла его душа. В одной половине, там, где было простреленное плечо, ожидали его новые беды и боли, нескончаемые сражения, возможная гибель и смерть. В другой, где белело ее лицо, куда увлекала его любимая, туманились золотые опушки, бежали по сугробам цепочки лисьих следов, свистели в весенних дождях голосистые птицы, и казалось возможным счастье, долгая до старости жизнь в окружении любимых и близких. Неподвижный, он выбирал. По груди его проходила черта, разделяя надвое сердце.

– Расскажи, – просил он, – что-нибудь о себе... Когда мы не были знакомы... Когда была девочкой... Что-нибудь волшебное, детское...

Она откинула голову на подушку, легла на спину. Так ложатся в прохладную воду летней реки, отдаваясь течению, солнечной ряби, тонким травинам, синим прозрачным стрекозам.

– Мы ездили на дачу, под Подольск. Там была деревня и рядом остатки усадьбы. Пруды, липовые аллеи, грачиные гнезда в старых березах. Я очень любила липовую аллею, сиреневый воздух, мелкие тени, как круглые серебристые монетки. Однажды, когда гуляла, в аллее возникло существо, – огромная женщина в развеянных одеждах, в каком-то балахоне, в чепце. Она двигалась среди лип, почти не касая земли. Я обомлела, испугалась. Что это было? Привидение? Дух старой барыни из разрушенной усадьбы? Или какой-нибудь ряженный на ходу-

лях? Помню, я закричала, и дух исчез. Никогда не узнаю, что меня так испугало в липовой старой аллее.

Он слушал ее, дорожил ее признаниями. Представлял ее девочкой среди дуплистых сиреневых лип, высоких берез, в которых чернели растрепанные косматые гнезда и истошно кричали грачи. Ему хотелось оказаться с ней рядом в том исчезнувшем времени, шагать по тропинке среди розовых скользящих теней.

– У нас дома был бабушкин хрустальный сервиз, – продолжала она. – Сахарница, масленка, вазочки для конфет и печений. На крышке сахарницы был хрустальный граненый шарик. Он откололся, и я с ним часто играла. Если смотреть сквозь шарик на свет, то в нем начинали вращаться маленькие яркие радуги. От этих красных, желтых, голубых огоньков становилось так радостно, словно в шарике существовала сказочная крохотная страна, и ты можешь в ней оказаться. Потом этот шарик потерялся, на целые десятилетия. Бабушки не стало, сервиз разбился. Мы переезжали на другую квартиру, рабочие отодвинули буфет, и в пыли я вдруг увидела шарик. Подняла, посмотрела на свет, и в нем заиграли красные, золотые, зеленые огоньки. Но возникла не радость, а боль, словно в шарике, в этих крохотных радугах остекленело исчезнувшее время, – мое детство, мои милые. Я смотрела в хрустальный шарик, и мне хотелось плакать.

Он чувствовал ее незащищенность, хотел ее заслонить. Оказаться вместе с ней в той комнате, где старинный буфет, остатки сервиза, и девочка в светлом платье держит у глаз граненый хрустальный шарик, ловит солнечный лучик.

– На даче, за деревней, был клеверный стог. Мы на него забирались, ложились на теплые вянувшие стебли и смотрели в небо. И там, в синеве, ветер нес семена, пушистые, легкие, как лучистые звезды. Деревенские говорили, что в темной сердцевинке находится лицо Боженьки. Я верила, смотрела, как летит лучистое семечко, и мне казалось, что в середине крохотная цветная иконка. И теперь, как увижу это летучее семечко, все равно верю, – в сердцевинке находится маленький образок, и от этого такая теплота.

Он лежал на меже, и мир был поделен надвое этой межой, проходящей через его сердце. По одну сторону реяли угрюмые силы, горели города, люди в камуфляже карабкались с автоматами на кручи, и его сердце сжималось от непримиримой вражды. По другую сторону, куда она его увлекала, были теплые родные пространства, серебристые избы, милые любимые лица, и летело, кружилось, переливалось в нежнейшем свете невесомое пернатое семечко.

– Послушайся меня хоть раз! – говорила она. – А уж потом я тебя всегда, до конца буду слушаться... Отрешишь, отойди от своих обид и забот! От своей борьбы и политики! Отойди на один шаг, отвернись, и почувствуешь совсем иную жизнь! Природа, чудесные написанные людьми книги, музыка, вера! Чуть поверни голову, устрями глаза на другое, и ты почувствуешь себя свободным!

– Думаешь, это возможно? – говорил он, послушный ее словам. – Такое бывает?

– Ты просто измучен и болен, а я тебя вылечу. Мы станем ходить по московским музеям, смотреть картины, на которых чудесные пейзажи, прелестные женщины, наездники, виды Парижа. Или наши русские городки, деревеньки, наша родная природа. Станем ходить в консерваторию, слушать светлую ослепительную музыку, Генделя и Стравинского, и ты, я уверена, испытаешь счастье! Мы начнем путешествовать по Подмоскovie, сначала в Кусково, Архангельское, а потом в Абрамцево, Мураново, Суханово, где стоят желто-белые беседки, текут медленные тихие речки.

– Такое возможно?

– Возможно!

Он ей верил, вручал свою утомленную, обессиленную волю, свою запутанную, лишенную смысла и цели жизнь. Она была сильнее его, знала нечто, ему недоступное. Владела высшим смыслом и целью.

– Думаешь, такое возможно?

– Только поверь, согласишься!

Он касался губами ее теплых волос, чувствовал тончайшие сладкие ароматы. Целовал ее маленькое горячее ухо с серебряной сережкой. И опять в его закрытых глазах, на самом дне, начинали возникать видения. Мокрый куст лесной малины, и зернистая темная ягода. На мягкой лесной земле длинная череда мухоморов. С вершин деревьев начинает моросить, сыпаться, покрывать траву тусклым блеском утренний дождь. И в дожде пролетела серая бесшумная птица.

Он целовал ее брови, вздрагивающие ресницы, краешки закрытых глаз. И видел озеро ослепительной синевы, белая стена камышей, полузатопленная черная лодка, и коровы, красные, забредают в воду и пьют, и от их опущенных голов бегут по синей воде расходящиеся круги, ударяют о черную лодку.

Он целовал ее и видел бегущий лесной ручей, склоненный плещущий на темной воде цветок, торчащую из воды заостренную ветку. Тянет за ветку, за мокрую ветвь, за край плетеной, опущенной в воду корзины. И вдруг из корзины, из черных плетеных прутьев ударил ослепительный взрыв, плеск и хруст, брызги воды и света. В черной корзине грохочут рыбы, вращают золотые глаза, топорщат красные перья.

Они лежали, обессиленные и счастливые, в душной московской ночи. Ему казалось, прошлого больше нет, и там, где недавно толпились и мучили картины страданий и смерти, теперь была тишина, мягкий туман опушки, сквозь который краснел предзимний куст бересклета.

Глава восьмая

Он проснулся от гроыхания воды, колотившей в жестяной карниз. В утреннем ливне туманился и дымился город. Кипели зеленые наклоненные вершины. Шипели колеса автомобилей. Текли, слипались перепончатые зонтики. Он стоял у открытого окна, чувствуя голой грудью холодные брызги. Испытывал освобождение, свободу от прошлого, смытого и разрушенного очистительным ливнем. Он жив, крепок, ноздри чутко ловят запах дождя, железных крыш, горьких тополей. Его милая спит в отсветах утреннего ливня.

С этим новым чувством освобождения он завтракал, принимая из ее рук чашку душистого кофе, слыша, как хлопает на улице дождь. С этим же чувством спускался с ней в лифте, незаметно улавливая запах ее духов. Шел вместе с ней под зонтиком, радуясь залетающим под пеструю ткань холодным каплям, поддерживая ее острый локоть. Он был независим, свободен. Эту обретенную независимость он использует для того, чтобы сделать свою милую счастливой. Это так легко, так возможно.

Он проводил ее на работу, до старинного терема, белокаменных московских палат, с крыльцом, подклетью, чугунной решеткой, где размещался культурный фонд. Поднялся вместе с ней в ее комнату со сводчатым потолком, под которым уместилась картотека, на удобном столике стоял телефон, вазы с цветами, образок Николы, лежала стопка бумаг. В потолке из каменной кладки свисало старинное чугунное кольцо. Вид этой маленькой опрятной кельи умилил его. Не желая мешать, он сказал:

– Ты трудись, а я к вечеру зайду за тобой. Где-нибудь поужинаем. Там и обсудим, как нам дальше жить-поживать.

Он спускался по лестнице, готовый выйти под теплый московский дождь, окунуться в туман, в шум и блеск города. Пережить в нем свою обретенную независимость, новое чувство свободы. Навстречу ему подымался человек, складывая зонт, стряхивая с него капли. Он был в ладном сером костюме, в шелковом галстуке. В жесте, каким он отряхивал зонт, была сила и грациозность теннисиста, отмеченная мимолетно Хлопьяновым. Не заглядывая человеку в лицо, уступая ему дорогу, он уже забывал о нем, отдаваясь своему новому драгоценному чувству освобождения, когда услышал за спиной:

– Хлопьянов!.. Это ты?

Оглянувшись, – человек сверху, со ступенек, смотрел на него, улыбался, и его радостно-изумленное лицо, худое и смуглое, с гладко причесанными золотистыми волосами, показалось Хлопьянову знакомым. Он мучительно вспоминал, где мог видеть этот прямой нос, густые вразлет брови, серые умно-веселые глаза. Пробивался сквозь этот образ, дорогой костюм, модный шелковый галстук, грациозный взмах зонта, к другому образу. Скрюченный, в драной «афганке», с усами, набитыми белой пылью, дергает локтем, меняет магазин автомата. Садно дымит подожженная гранатометом «тойота». И он, Хлопьянов, прыгает с брони, начинает стрелять, прикрывая лежащего на песке офицера.

– Каретный? – изумился Хлопьянов, узнавая сослуживца, не находя на его лице офицерских усов, белой пыли, выражения страха и ненависти. – Как ты здесь оказался?

Перед ним стоял, улыбался, зазывал его обратно из-под дождя давнишний знакомец, полковник Каретный, с кем сводила его война в предместьях Кабула, в красной, как марсианский пейзаж, пустыне Регистан, в серебристых предгорьях Муса-Калы. Каретный, служивший в ту пору советником в афганской разведке, действовал по линии госбезопасности, слыл опытным и умным разведчиком.

– А ты-то как здесь, старина?

Они кинулись друг к другу и обнялись. Хлопьянов почувствовал под тканью костюма крепкие длинные мышцы, уловил вкусные запахи дорогого табака и одеколона.

Каретный увлек Хлопьянова в маленький уютный бар, размещенный внизу, в подвале. На каменных стенах были красиво развешены чеканные щиты и доспехи. Дубовая стойка с медными кранами пестрела бутылками. Они уселись на высокие седалища и выпили по рюмке острой пряной водки, – за нечаянную встречу, за боевую дружбу, за афганской поход.

– А помнишь Черную площадь в Кандагаре? – говорил Каретный, комкая в кулаке мокрую рюмку. – Проклятое место! Там все время лупили по колоннам с дальней дистанции. Бывало, протацишь колонну мимо мечети, и думаешь: «Слава Богу! Теперь жить будешь!» Помнишь эту чертову площадь?

Он помнил Кандагар, солнечные глинобитные стены, лазурный купол мечети, шерстяные косматые бока медлительных верблюдов с полосатыми выюками. Колонна танков, скрипя и стуча гусеницами, врвалась в город, распугивала клубящуюся толпу, и он из люка ловил запахи дымных жаровен, выючных животных. Меленькая, пестрая, как табакерка, коляска в золотых и красных наклейках, виляя колесами, уклонялась от рычащего головного танка.

– А помнишь Муса-Калу? Как блуждали в плавнях, напоролись на засаду. Чудом тогда уцелели! Закрою глаза и все вижу!

Он видел тростники, легкие седые метелки, шелестящие над мелкой водой. Они перебирались вброд, держа на весу оружие, на звук близкого стада, на крики и свист пастухов. Близко, срезая метелки, ударили автоматы противника. Навскидку, вслепую, падая в мелкую реку, они отвечали, срезая огнем тростники, разгоняя летучий отряд моджахедов. Вышли на берег, отекая водой. Рыжая, убитая пулей корова. Влипшая в грязь, черная, с красной подкладкой калоша. Далекая, среди белесых предгорий, Муса-Кала, серебристые купола и дувалы.

– Дорого бы я заплатил, чтобы снова пролететь над пустыней! Сначала, ты помнишь, летим над крепостью, над поселком белуджей. Земля под винтами черная, будто посыпана сажей. Потом все желтей и желтей. Ни одного кишлака, только караванные тропы. Потом, будто пузыри, красноватые, вспученные, словно нарыл их крот. А потом сплошные красные пески Регистана. Пустыня, как тигель! Ветер, залетающий в блистер, сухой, горячий!

Он помнил красный, как кадмий, марсианский ландшафт Регистана. Ровные до горизонта пески. Сонное кружение вертолета. Поисковая группа спецназа, разложив на днище оружие, дремлет, – бритые солдатские головы, набитые подсумки и фляги. Пока не ударит курсовой пулемет, и тогда все глаза на землю, к далеким пескам, где разорванной черточкой, словно брошенная горстка семян, идет караван. И что там, на верблюжьих горбах, – контрабандный товар, корявые связки дров или маслянистые, набитые в тюки автоматы.

Они снова выпили водку, хмелея, дорожа своей общностью, драгоценными воспоминаниями, отделенные от остальных своим знанием жестокой азиатской войны, иной земли и природы, которые теперь, после всех смертей и несчастий, казались им неповторимыми и желанными.

– А помнишь, – продолжал Каретный, и его млажавое сухое лицо стало мечтательным, а в серых глазах загорелись золотые точки, словно отражение вечернего азиатского солнца. – Помнишь, как проходили Герат, и моя машина заглохла, а ты взял меня на трос, дотянул до 101-го полка?

Хлопьянов помнил вывод полков. Колонны бэтэров и танков катили по горячей бетонке, в радиаторах вскипала вода, машины, развернув по сторонам пулеметы и пушки, вели огонь по предгорьям, покрывая откосы кудрявыми взрывами. Вечерний Герат был гончарно-красный, стены домов, мечети, смоляные стволы кипарисов, кусты увядающих роз. Он, наклонившись из люка, сорвал на ходу вялую красную розу.

Они выпили «третий тост», не чокаясь, за погибших товарищей. И пока горела на губах горькая водка, Хлопьянов мысленно облетел все афганские лазареты и морги, все горящие колонны и взорванные заставы, кладбища искореженной техники. Как бред промелькнуло и

кануло: санитарный транспортер «таблетка» с водянистыми фарами мчится в пыли, и кто-то, простреленный очередью, умирает под пыльной броней.

– Я рад нашей встрече, – сказал Хлопьянов. – Чудеса, да и только!

Ему было хорошо. Легкий хмель размывал и туманил стойку бара, бутылки с наклейками, медные щиты на стене, все реальные предметы отступали в тень, в глубину. А из прошлого отчетливо, ярко, – руку протяни и достанешь, – приближались лица товарищей, синие контуры гор, цветущий куст на обочине, корма подбитого танка, и Каретный, усатый и пыльный, кидает на кровать автомат.

– В Лашкаргахе, когда мы гоняли муллу Насима, ты ведь в сущности спас меня. Подоспел на своей «бээмпэшке», прикрыл. Ане то мне хана! – говорил Каретный, благодарно пожимая Хлопьянову руку. В сущности, я тебе жизнью обязан!

– О чем ты! – растроганный признанием фронтового товарища, отмахивался Хлопьянов. – Я ведь был рядом. Как услышал стрельбу – вперед, и выскочил на тебя!

Ему была важна благодарность товарища. Он чувствовал сладостный хмель, вспоминал дорогу на Герат под зеленым вечерним небом вдоль обглоданных сосен, чьи смоляные стволы были в красных горячих клеймах. В расположении полка, в ночи, сидели на земле у костра, пили спирт. Рядом, хрустя гусеницами, разворачивались танки, накатывали пыльные молнии света, и в редких прогалах пыли высоко и бесстрастно горели азиатские звезды.

– Но все-таки я должен тебе что-то сказать, – Каретный полез во внутренний карман пиджака, извлекая кожаный бумажник. – Судьба все-таки подарила мне случай отплатить тебе благодарностью... Смотри-ка!

В отделении бумажника виднелась стопка фотографий. Каретный зацепил одну, вытянул, положил на стойку бара между двух мокрых рюмок. Разводы света, пройдя сквозь мокрое стекло, падали на фотографию. Хлопьянов рассматривал снимок, плохо понимая, откуда могло взяться это изображение. На фотографии был он сам, Хлопьянов, рассеянно стоящий на краю тротуара, рядом с корпусом «джипа». Размытый в движении бампер другой машины туманил край фотографии.

– Это что? – изумился Хлопьянов.

– Еще смотри.

Новый снимок лег перед ним в водянистое пятно света, и опять на нем был Хлопьянов, в броске, открывая дверь «джипа». Оглядывался перекошенным лицом, с уродливо открытым ртом. И во всей его позе был страх, нелепый выверт тела и одновременно звериная цепкость.

– Это кто же снимал? – Хлопьянов изумленно узнавал себя в тот недавний вечер на Пушкинской площади, когда из проезжавшей машины расстреляли «джип», и Хлопьянов, повинуясь рефлексу, спас хозяина «джипа», толстенького кавказца, плюхнул на сиденье и ушел от погони, петляя по переулкам. – Кто снимал?

Сквозь сладость и хмель – мгновенный толчок тревоги, предчувствие близкой опасности. На стойке бара лежали фотографии, фиксирующие террористический акт. Был запечатлен он, Хлопьянов, его расчлененный на кадры бросок, его конвульсия, когда, прижавшись к рулю, уклоняясь от очереди, толкнул машину вперед, и сзади, круглая, как мяч, бритая наголо, крутилась голова азербайджанца, то ли Акифа, то ли Сакита, чья визитная карточка, невострелованная, валялась где-то в кармане.

– Тебя могли убить, – продолжал Каретный, собирая фотографии, складывая их аккуратно в бумажник. – Я успел тебя узнать, остановил стрельбу. Прекратил преследование. Еще сомневался, ты, не ты? А потом проявили контрольную пленку, – ты! Так что, если угодно, мы с тобой квиты и за Герат, и за Лашкаргах.

– Что это было? Почему стреляли? – спросил Хлопьянов, но вопрос, который мучил его, заключался в другом. Поле опасности расширилось, делало четкими, словно вырезанными, кромки предметов, – стойки бара, чеканки на стенах, оконца с мокрыми тополями, бумажник в

руках загорелого, сидящего перед ним человека. Вопрос, который мучил его, заключался в том, как объяснить их теперешнюю, казавшуюся случайной встречу. Тот грациозный небрежный жест, которым Каретный стряхивал капли с зонта. Его изумление и неподдельную радость. Значит, встреча была неслучайная. Радость была поддельна. Каретный явился следом за ним в белокаменные палаты, чтобы показать фотографии.

Вместо недавней сладостной беспечности, благостного чувства свободы к нему опять вернулось напряжение, чуткое ожидание, зоркость. Привычная для разведчика вкрадчивая осторожность, дабы не спугнуть, не испортить, не обнаружить свои истинные переживания и намерения.

Он, Хлопьянов, военный разведчик, смотрел на другого разведчика, своего прежнего фронтового товарища, прощупывал его и просматривал. Не взглядом, не слухом, а потаенным невидимым лучом из подозрений и страхов. Кто он такой, сидящий перед ним человек? Какова природа исходящей от него опасности? Какую беду сулит ему эта встреча? Как избежать беду? Как проскользнуть по тонкой кромке, еще не захваченной полем опасности, туда, наружу, где моросит и сыплется теплый московский дождь?

– Почему стреляли? – повторил вопрос Хлопьянов.

– Нефть, и немного оружия. И, конечно, немного политики. Нефть Апшерона, война в Карабахе, вербовка наемников. Этот Акиф, которого ты прикрыл, со всем этим связан. Не сдержал обещаний, кое-кого подвел, кое-кого подставил. Поэтому на него накатили! – Каретный говорил легкомысленно и небрежно, помахивая загорелой рукой. Но за этими небрежными взмахами Хлопьянов угадывал встречную настороженность и чуткость. Непрерывное зоркое наблюдение за ним, Хлопьяновым. Оба они, сотканые из одинаковой нервной материи, с одинаковым опытом маскировки, притворства, следили один за другим. Касались неприметными щупальцами. Выискивали пути возможной атаки и пути отступления. Опутывали друг друга тончайшей паутиной.

– А ты-то как с этим связан? – спросил Хлопьянов, не давая собеседнику угадать главный источник тревоги, вопрос о неслучайной их встрече. – Кто в этом деле ты?

– Ну как бы тебе сказать... Если угодно – эксперт. Или точнее – координатор. Или еще точнее, – руководитель службы безопасности одного крупного банка... Да и не только банка. Связь с охранными подразделениями других коммерческих фирм. Это целая армия. Связь с президентскими, правительственными структурами. Они нуждаются в этой армии... И конечно, связи с политиками, – деньги пошли в политику... С Минобороны, с комитетчиками, – все это сплетается в узел, информационный, финансовый, силовой... Вот этим я занимаюсь.

Они опутывали друг друга паутиной, и ее становилось все больше и больше. Рюмки были обвешаны серым веществом паутины, бутылки с цветными наклейками. Оконце туманилось, занавешенное полупрозрачной паутиной. Едва заметные нити светились на пальцах Каретного, на его запонках и часах. Его собственные глаза, ресницы, брови были в легкой вязкой мути, как бывает в лесу, когда лицом прорываешь развешенную пауком перепонку.

– Ты хочешь спросить и не спрашиваешь, – усмехнулся Каретный. – Ждешь, когда я первый скажу... Да, действительно, я шел сюда, чтобы тебя повидать. Знал, что ты здесь, что провожаешь любимую женщину. – Хлопьянов вдруг испугался за Катю. Не ведая ни о чем, она сидит в своей маленькой комнатке где-то рядом, и о ней уже знают, отслеживают, и это он, Хлопьянов, накликает на нее беду. – Скажу тебе больше, – продолжал Каретный. – Там, на Тверской, когда ты угнал от нас азера, я приказал прекратить преследование, но потом, когда проявили пленку, приказал за тобой наблюдать. Я знаю о твоих хождениях, о твоих контактах. Как ты встречался с Генсеком, был у Красного генерала и у своего друга Клокотова. Тебя видели на крестном ходу. Я даже пользуюсь твоими условными именами, твоими шифрами, я вскрыл твои коды! – Каретный засмеялся дружелюбно, но его белые влажные зубы сверкнули

угрожающе и жестоко. – Ты видишь, я уже кое-что знаю. Говорю тебе, как старому товарищу, о котором не забывал никогда. Которому благодарен, благодарен нашей случайной встрече на Пушкинской!

– Что ты хочешь? – Хлопьянов смотрел на обрывки паутины, на вялые нити, летавшие в баре. словно это было осеннее поле с бесчисленными струнками развеянной, реющей паутины. – Зачем я тебе?

– Как сказать... Ты профессионал. Опыт твой колоссален, а нам нужны профессионалы. Мы их подбираем, они не должны валяться в грязи. Ты надежен. Я видел тебя в самых опасных переделках. Твои хождения и контакты с оппозицией представляют особый интерес. Пока что ты добился немногого, но рано или поздно ты войдешь в ряды оппозиции. А это для нас очень важно.

– Ты вербуешь меня?

– Хочу восстановить нашу дружбу. Хочу быть полезным тебе. Хочу включить тебя в настоящее дело, чтобы ты не чувствовал себя неприкаянным. Ты нам тоже будешь полезен.

– Кому это «вам»? Кто это «вы»? – Хлопьянов смотрел в оконце, где блестели в дожде тополя и исчезала кратковременная надежда на иную жизнь, без тревог и опасностей. Опасности и тревоги вернулись, окружили его, и душа, как упругая мембрана, начинала звучать, откликаясь на угрозы и страхи.

– «Мы» – это не фирма, не корпорация, не корпускула, не госструктура, хотя среди нас есть действующие военные, реальные министры, известные политики и банкиры. «Мы» – это группа лиц, стоящих вне власти, над властью, при власти, цель которых – воздействовать на власть, побуждая ее избежать катастрофы, куда вовлекается Россия. Мы стараемся использовать ресурс наших знаний, финансов, влияний, чтобы повернуть развитие в сторону от катастрофы. Не позволить политикам вовлечь Россию в схватку, которая обернется гражданской войной и окончательным исчезновением Родины. Если угодно, мы патриоты. Но не те, кто истошно орет на митингах под красным знаменем, кликушествуя о грядущем коммунизме. И не те, кто прилюдно крестил лоб на бутафорских монархических сборищах. Мы – реалисты, и хотим уберечь страну от гражданской бойни, устранить институты и силы, ведущие Россию к войне. Пройдя сквозь этот опасный политический период, мы приступим к государственному строительству обновленной и великой России.

– Вы – «партия президента»? Враги оппозиции? – Хлопьянов выпрашивал, стараясь услышать в шелестящей и трескучей риторике важный для себя звук. Слабый сигнал. Выловить его среди помех и ложных звучаний. Усилить, расшифровать, угадать потаенное значение слов. В чем намерения человека, называющего себя его фронтовым другом? Почему он ходит за ним по пятам, высматривает каждый его шаг? Зачем притворялся, устроил ловушку здесь, в белокаменных палатах? – Ты служишь президенту в его борьбе с оппозицией?

– Знаю твои взгляды. Рискую тебе не понравиться. Но мне хочется быть откровенным, иначе дело, в которое я тебя вовлекаю, не сложится.

Хлопьянов кивал головой, принимал его откровенность и искренность. Знал, что это утонченная форма лукавства, искусный обман, скрывающий глубинный опасный смысл. И чтобы его разгадать, ему самому следует быть лукавым, демонстрировать откровенность и искренность. Ибо он вел борьбу с человеком, заманившим его в западню, окружившим кольцом опасностей.

– Ты говоришь «оппозиция»? Но ведь это хлам, рухлядь! Все, что осталось лежать в полусгнивших сундуках царской империи или в казенных шкафах сельсоветов и профкомов! Посмотри на этих казачков, на того же полюбившегося тебе сотника Мороза! Смех, бутафория, картонные погоны и жестяные «Георгии»! На что он годится? На представление в цирке! Или веселые бабушки бунтаря Анпилова с плакатиками и флажками, оставшимися от брежневских лет! Праздник Октября в доме престарелых с клубным затейником! А вожди! Хасбу-

латов, чеченский князек, очередной кавказский выскочка, переехавший в Москву из ущелья! Позор Великой России! Руцкой, пустой и горячий, как выкипевший самовар! Летчик, которого вечно сбивают, вечно попадающий в плен! На нем печать неудачи! Вся оппозиция – это сор, гонимый ветром, забивающий рот и глаза! Его собрать метлой, облить бензином и сжечь! И пусть над Москвой ненадолго поднимется темная копоть!

– Или «партия президента»! Такая же шваль! Дилетанты, мыльные пузыри! Планктон! Креветки! Сине-зеленые водоросли! Жирный гниющий бульон, в котором плавает огромное животное – президент! Уродливый, свирепый, дикий нравом, скудный умом! Вечно бражный, подозрительный, беспощадный! Он – заминирован! Ему в мозжечок вживили приборчик с крохотной, торчащей во лбу антенкой! Он, как управляемый по радио танк, двигается по полю боя, утюжит окопы, стреляет во все стороны из пушки, крушит на своем пути любое препятствие! Его миссия – уничтожить хлам оппозиции, сжечь старье, доставшееся от старой эпохи, а потом – самому взорваться! Им управляют, как биороботом. Когда он выполнит миссию истребления, расчистит место, тогда последует короткий сигнал на самовзрыв, и там, где был президент, останется дымная медвежья шкура, шаманский бубен и груды битых бутылок!

Каретный, желчный, веселый, ненавидящий, презирал придворную стаю, окружавшую президента челядь. Презирал самого президента, передразнивал его, кривил уродливо рот, мычал, ревел, пучил глаза. Изображал пьяного, закутанного в медвежью шкуру самодура, топочущего в якутском стойбище среди рыбьих туш, под грохот шаманского бубна.

– Кто ты? Кому служишь? – Хлопьянов, весь начеку, старался не пропустить ни единой интонации, ни единой ужимки. Добывал по песчинке новую, открывавшуюся ему информацию. Знание о человеке, завлекшем его в ловушку. В этой ловушке, еще невидимая, подстерегала его огромная опасность, быть может, гибель. И то, и другое было знанием, которым он должен был завладеть, перед тем, как погибнет. – Кто же вы такие, управляющие мозжечком президента?

– Мы – длинная синусоида истории. Мы – скрытое могущество России. Мы – знающие и владеющие. Когда издыхал тучный коммунизм среди своих банкетов и юбилеев, мы закладывали организацию. Скопили богатства и поместили их подальше от воров. Сохранили золотой запас и запас уникальных открытий. Мы построили перед потопом Ковчег и разместили в нем все самое ценное, что создал народ, – книги, приборы, семена растений и великие организационные проекты, связанные с заселением Марса. Потоп разразился, Ковчег плывет, и мы предлагаем тебе на нем место. Большого я сейчас не скажу.

Каретный был бледен. Эта бледность, то ли восторга, то ли безумия, делала его брови угольно-черными, а рот ярко-красным. Хлопьянову казалось, что перед ним фарфоровая маска с черными и красными мазками. На мгновение он испугался, словно ему показали человекоподобное изделие, созданное для колдовства и волшебных таинственных культов. Захотелось встать и уйти. Скрыться от Каретного в московской толпе, в подземных переходах, толчее вокзалов, перекладными электричками, поездами, попутными машинами удалиться на недоступное расстояние. Изменить свою внешность, зарости бородой, волосами, превратиться в горбуна, хромуна, засесть до скончания дней в какой-нибудь первобытный шалаш, в землянку, в рубленную баньку, и там спастись от этого фарфорового лица, от волшебства, от леденящего страха, превращающего кровяные частички в красные кристаллики льда.

– Существует глубоко законспирированный план. Я в нем участвую. И тебя приглашаю участвовать.

– В чем план? – слабо отозвался Хлопьянов.

– Когда-нибудь позже, когда ближе сойдемся... Этот план состоит из нескольких фаз, рассчитанных на жизнь нескольких поколений. Его начал Андропов, замыслив огромную трансформацию, закладывая в омертвелое общество новые формы развития. Он был подключен к искусственной почке, работала целая медицинская фабрика, продлевая ему жизнь, чтобы он

успел заложить эти формы. Он успел, и его убрали. Эта фаза так и называется «Почка». Горбачев со своей «Перестройкой» должен был измельчить, расколоть, превратить в труху монолит омертвело́го общества, чтобы отделить живые элементы от мертвых, чтобы живое могло дышать. Операция «Путч», как клизма, вымывала из общества все омертвелые шлаки, нелепых «гэкачепистов» и самого израсходованного, превращенного в перхоть Горбачева. Фаза «Электросварка» связана с Ельциным, когда в лишенное управления общество встраивают, вваривают грубые рычаги и тяги, заставляют народ ходить на протезах. Одна часть народа кричит от боли, но идет. Другая падает и умирает. Умершее подлежит устранению. Эта операция, которая нам еще предстоит, называется «Крематорий». В результате уйдут Хасбулатов с Руцким и вся бестолковая оппозиционная мелочь. Следующий этап под названием «Боров» будет связан с устранением Ельцина. К этому моменту общество станет другим, с иными вождями и лидерами, свободное от вериг, и Россия, обновленная, сбросив балласт истории, войдет в двадцать первый век!

Пульсировала, источала яды и сукровь, в синих потеках и слизи огромная малиновая почка, помещенная в стеклянный небоскреб. Качалось огромное, на цепях, чугунное ядро, пролетая от Балтики до Кавказа, ударяя в тундру и Уральский хребет, проламывая кости и череп опрокинутой навзничь стране. Шипела, слепила вольтова дуга, дымилась живая плоть, когда к ней прижимали раскаленные докрасна двутавры, скрепляя болтами и скобами переломанные мышцы и кости. Чадил Белый Дом на набережной, превращенный в черный, источающий жирный дым крематорий, покрывая белые камни соборов рыхлой копотью. Лежал на белом снегу, в бескрайнем морозном поле огромный заколотый боров, оскалив клыки, спуская вялую кровь в окрестные озера и реки, и кружили над падалью голодные черные птицы.

Хлопьянов смотрел на фронтового товарища, и не было фарфоровой маски, а знакомое, в красивом загаре лицо, легкомысленное и веселое.

– Понимаю, – сказал Каретный. – У тебя есть много вопросов. Но не сейчас. Давай поработаем вместе. Собственно, ты уже начал работать, внедряясь в ряды оппозиции. Знаешь, давай-ка уйдем отсюда. Перейдем в соседнее помещение. Там собрались определенные люди. Они могут показаться странными. А что не странно? Может быть, те гератские сосны, мимо которых ты тянул меня на тросе в расположение 101-го полка?

И снова возникло зеленое афганское небо, красные придорожные сосны, и на гаснущей далекой горе ослепительный слиток вершины.

Глава девятая

Узкими переходами, крутыми лестницами они двигались по белокаменным палатам, которые и впрямь напоминали ковчег со множеством палуб, этажей, тесных галерей, просторных гостиных и крохотных келий. В одной из них сидела Катя. В других размещались неведомые службы, временами слышалась иностранная речь, раздавалась негромкая музыка, в полуоткрытых дверях голубели мониторы, и молодые молчаливые люди в одинаковых белых рубашках и тонких галстуках переносили из кабинета в кабинет папки и разноцветные паспарту.

Они вошли в просторную комнату со сводчатыми потолками, напоминавшую княжьи покои. Стены, бело-сахарные, без единой картины или украшения, были так чисты, что возникало пугающее ощущение их отсутствия. Посредине стоял массивный дубовый стол, были расставлены старинные кресла, а по мягкому, скрадывающему шаги ковру расхаживали люди, парами, в одиночку. Было видно, что они знакомы, все приглашены по единому настоянию, для общего дела. Не в первый раз встречаются в этих старинных покоях.

– Мы встанем с краешку и будем смотреть, – сказал Кареный. – Смотреть на них одно удовольствие! – в его насмешке было легкое превосходство высшего существа, терпящего капризы и странности существ простейших.

Хлопьянов наблюдал, как движутся гости на фоне белых стен, отбрасывая на них голубоватые тени.

Было ощущение, что он их уже видел прежде, они известны ему. Стерильная белизна, мимо которой они проходили, создавала иллюзию сна или наркотического обморока, а сами они казались видениями.

Подле них задержалась костлявая болезненная старуха в черном аскетическом платье. Ее волосы были полурастрепаны, казались посыпанными пеплом. В склеротических, с изуродованными суставами пальцах дымилась сигарета. Она жадно, по-солдатски затягивалась, сипло выдыхая дым, обнажая прокуренные желтые зубы.

– Вы знаете, Андрей Дмитриевич является мне часто во сне. Я уже привыкла, если какие-то осложнения в политике, какой-то очередной кризис, Андрей Дмитриевич приходит ко мне и высказывает свое отношение. Вот недавно, вы знаете, были слушания в этом хасбулатовском сумасшедшем парламенте по поводу Черноморского флота, и эти фашиствующие бабурины, Исаковы, Константиновы затеяли очередной скандал, чреватый войной с Украиной. Так мне явился во сне Андрей Дмитриевич и сказал, чтоб я позвонила президенту. Пусть не уступает шовинистам, вплоть до разгона парламента. И я позвонила!

Эти слова она говорила маленькому надменному человеку, который стоял перед ней, заложив по-наполеоновски руку за спину. Его тревожные бегающие по сторонам глаза искали кого-то, кого-то опасались, кому-то желали понравиться. Каблуки человека были вдвое выше обычных, и его губастый усмехающийся рот выражал вечную неутоленность, нездоровье, едкую иронию и скрытый испуг.

Этих двоих узнал Хлопьянов. Старуха, посыпанная пепельной перхотью, была вдовой известного академика, первую половину жизни изобретавшего для Сталина водородную бомбу, которую испытывали на приговоренных к смерти заключенных. Вторую половину жизни академик боролся со сталинизмом, выступал за либеральные ценности и, став мучеником и диссидентом, получил много премий. Вдовица наследовала его гуманизм, часто выступала по телевидению, и Хлопьянова раздражала ее назойливая назидательная риторика и биологическая ненависть к оппозиции. Маленький человек был главным управителем телевидения.

Хлопьянов узнал еще одного, проходившего близко и почти задевшего его локтем. Этот высокий, поразительно тонкий, червеобразный субъект был известным пародистом и комиком, высмеивающим приверженцев прежнего строя, смешно издевавшимся над пожилыми фронтовиками и упрямыми ветеранами. Его лишенное плоти туловище, похожие на макароны ноги постоянно вздрагивали, трепетали, и ходили взад-вперед внутри тесных брюк и пиджака, словно одежда была смазана маслом или скользкой слизью, а сам он старался выползти из нее, извивался, вытягивая маленькую костяную головку с глазами злой ящерицы.

– Если трубку и кавказскую личину Хасбулатова скрестить с усами и голенищами Руцкого, то и выйдет вылитый Сталин. Чтобы не допустить возвращения Сталина, мы должны сбрить у Руцкого усы, а трубку Хасбулатова вогнать ему в зад. Когда я гуляю перед сном в переулке, я смотрю на фонари и представляю на них Анпилова, Макашова и эту чеченскую истеричку Сажи. Я даже сочинил презабавный стишок «Фонарщик», хочу напечатать в «Литературной газете».

Он наклонился к собеседнику и читал стишок. Собеседник, известный экономист-реформист, тугой, грудастый, длинноносый, похожий на пеликана, что-то урчал и курлыкал. Энергично двигал и дышал носом, и казалось, он держит в клюве живую добычу, рыбу или лягушку, треплет ее и проглатывает.

Хлопьянов смотрел на Каретного, стараясь понять его значение. Тот стоял поодаль, стройный, элегантный, сдержанно-благожелательный. Присутствующие гости не подходили к нему, но издали слегка кивали, делали приветствия бровями, глазами, здоровались беззвучно одними губами. Было видно, что его знают, признают за ним важную роль, но не включают в свое броуновское кружение по залу. Он был, как мажордом, следящий за распорядком, был хозяин помещения, которое приготовил и обставил для гостей.

Еще одна пара приближалась, бесшумно скользя по ковру. И их узнавал Хлопьянов. Один был президентский советник, белозубый, бородатый, чернявый. Его восточный армянский лик был обольстительно приветлив, приторно сладок. А гибкие движения откормленного кота выражали желание очаровать собеседника. Он был славен тем, что побуждал президента к беспощадным мерам по отношению к оппозиции, толкал его к диктатуре. Второй был также легко узнаваем, хотя был облачен не в маршальский авиационный мундир, а в партикулярный костюм. Казалось, уголки его губ были подвязаны на веревочках, как маленькие колбаски. Все время приподнимались, будто кто-то тянул за веревочку, и тогда создавалось впечатление, что маршал улыбается. Он мог говорить о серьезном, даже трагическом, но веревочки натягивались, и маршал нелепо улыбался, хотя глаза его оставались беспощадны и злы.

– А я вас уверяю, – говорил маршал, – что нам еще придется бомбить Москву, и даже Кремль, и дворцы, и соборы! Существует сверхточное оружие, управляемые авиабомбы и снаряды, которые, при желании, можно направить прямо в кабинет Хасбулатова. И народ оправдает нас! Поймет и оправдает! – он улыбался, мило и застенчиво поднимая уголки натянутых губ. Обольстительный армянин поощрял его, по-кошачьи выгибал спину, и глаза его на косматом лице светились, как две масляные лампадки.

Хлопьянов слушал, наблюдал, испытывая незнакомое прежде страдание. Не душевное, не психическое, а особое страдание плоти, когда боль возникает в самих кровяных тельцах, в клетках кожи и мозга, в тканях и костном веществе, будто их растворяют в невидимом едком растворе, рассасывают в желудочном соке. Он отчетливо чувствовал, что его тело, его энергия являются кормом для какой-то иной присутствующей здесь жизни. Эта жизнь, представленная человекоподобными существами, создана не на земле, возникла не на земной основе, а на иных биологических законах, на иной химии. Она явилась на землю за кормом, который ищет в ее прежней среде обитания. Набросилась на беззащитных, ничего не ведающих землян, и беспечные люди, и он сам, Хлопьянов, служат едой, кормом для этих человекоподобных пришельцев.

Белизна и стерильность стен, по которой скользили прозрачные тени, лишь усиливали ощущение ирреальности. Казалось, синтез этих загадочных жизней был осуществлен под воздействием бледных отсветов далекой планеты, возбудивших таинственный код. Этот код был занесен на землю в капельке мертвенной слизи, в кристаллике льдистой молоки и замороженной спермы. Так лунными ночами в заводах, среди мертвого ила и блеклых трав созревает икра лягушек. Разбухает, впитывает жадно ночные, летящие из неба лучи, сотрясая черно-блестящую поверхность воды трепещущим студнем. Хлопьянов чувствовал присутствие инопланетных существ, поедавших его. Каждое, проходя, вонзало в него невидимое острие, слизывало капельку крови, впивалось отточенным хоботком и буравчиком, высасывая его соки и плоть.

Тучный, упитанный, плотно упакованный в темный атласный пиджак, с алмазным перстнем на пухлых голубоватых пальцах, проходил известный банкир, поворачивая белое, румяное лицо к собеседнику, который легко узнавался по хищной мохнатой мордочке злой обезьяны. Этот второй обычно восседал на пресс-конференциях президента, расшифровывал междометия и мычания хозяина, на лету исправляя его ошибки и ляпы, одновременно одними умными глазками издевался над ним и глумился.

– Эти выморочные уроды в толпе с красными флагами и портретами Сталина не опасны! Они – вымирающая популяция, и если хотите, мне их жалко, – говорил банкир, сыто шевеля влажными розовыми губами, – Они умрут от пьянства, от холода, от недоедания и инфекций. Ибо не приспособлены к новым условиям. И их не нужно спасать! Они – бремя, избыток материи! Выживут сильные и здоровые, мы с вами. Из прошлой эпохи мало что может сгодиться. Изделия труда, заводы, книги, идеи, – все хлам, все пойдет на помойку. Вы знаете, я решил купить один из космических кораблей «Буран». Хочу поставить его на набережной и сделать там казино, или дом свиданий или, на худой конец, общественный туалет. Пусть хоть чем-нибудь послужит новой России!

Его собеседник смеялся, кашлял, ожесточенно чесал рыжеватую растрепанную бородавку, вычесывая из нее что-то живое, мелкое, досаждавшее ему и кусавшее.

Хлопьянов чувствовал бессилие и беззащитность. Наполнявшие комнату существа, их личины и образы были мнимы. Были подобием, а не сущностью. А истинная их сущность оставалась невидимой, действовала в другом измерении, была неподвластна обычным органам чувств. Проявлялась, как неисчезающая угроза и страдание.

Так было с ним в Чернобыле, когда в безоблачном небе светило солнце, в прозрачном воздухе стояли травы, белели нарядные мазанки, и все было пронизано невидимой смертью. Незримые лучи настигали сквозь стены, пронизывали одежду, убивали кровавые тельца, разрушали сетчатку глаз, порождали в нейронах мозга безумие. Так было с ним в Афганистане, в ущелье Панджшер, когда в стеклянной высоте розовели сухие склоны, сверкала на перекатах река, и в безмолвном безлюдном мире присутствовала смерть. Уставила ему в лоб отточенное острие. Он чувствовал между бровей незримую сетку прицела, будто села и шевелила лапками назойливая муха. Беспомощно оглядывал горы, пытаясь обнаружить слабый металлический отсвет.

К ним подошел сутулый худой человек с выпуклой, почти горбатой спиной. Казалось, под пиджаком у него плита, сгибающая спину. Голова человека была бритой, костяного цвета, как огромный бильярдный шар. Сквозь толстые окуляры смотрели огромные, розовые, без зрачков глаза. Эти окуляры были видимостью очков, а наделе закрывали отверстия в голове, сквозь которые пульсировало, хлюпало розовое, напоминавшее кисель вещество мозга. Эти глаза без окуляров могли вылиться на пол, истечь розоватым теплым студнем.

– Это господин Сальмон, – Каретный представил его Хлопьянову. – Ученый из Бельгии. Большой друг нашей многострадальной России.

– Господин Каретный рассказал мне о вас. О ваших афганских подвигах, – Сальмон захватил руку Хлопьянова, не отпуская, и казалось, на его влажной ладони находится чувстви-

лице, с помощью которого он изучает Хлопьянова, снимает множество проб, узнает его пульс, группу крови, вторгается в генетическую память. – Рад познакомиться с вами.

Сальмон правильно выговаривал русские слова, но с легким дефектом. Не с акцентом, а с косноязычием, будто во рту его находилось стеклышко или леденец. И это косноязычие выдавало искусственность, синтезированность речи, составленной, как у робота, из отдельных записанных слов.

Хлопьянов был неприятно поражен тем, что Сальмон слышал о нем. Каретный привел его в общество, где его знали и ждали.

– В Афганистане имела место борьба разведывательных агентур, – сказал Сальмон, выпуская ладонь Хлопьянова из своей вялой, пластилиново-мягкой руки. – Во время войны в Заливе имела место борьба электронных устройств и потоков. Будущие сражения будут связаны с борьбой психотронных энергий. Хотя, конечно, подобные энергии использовались в определенной степени и в прежних традиционных конфликтах.

– Что вы имеете в виду? – спросил Хлопьянов, ощущая на ладони ожог от пожатия, словно прикоснулся к крапиве.

– Когда советские войска вошли в Афганистан, муллы всех мусульманских стран молились одновременно о сокрушении неверных. Нанесли вашим войскам парапсихологический удар, который кончился для вас поражением. Я слышал от ваших историков, – в сорок первом году гитлеровские армии должны были взять Москву. Между этими армиями и городом не было регулярных войск, а только разрозненные ополченцы. Но православные священники во всех уцелевших церквях, и даже в сталинской тюрьме на Соловках, стали молиться о спасении России, вынесли иконы к линии обороны, и немецкие войска побежали вспять. Совсем недавно, во время вашего «путча», ГКЧП был парализован, а вошедшие в Москву дивизии деморализованы, потому что тысячи экстрасенсов и парапсихологов нанесли концентрированный удар по Кремлю, и это позволило Ельцину выиграть у безвольных, парализованных коммунистов.

Сальмон смотрел на Хлопьянова розовыми колбами, в которых сочились соки, переливалась перламутровая слизь, трепетали тонкие красные жилки. Хлопьянов чувствовал льющуюся из этих живых флаконов энергию. Таинственную химию неземных элементов, вступивших в связь с его плотью и психикой. Вспомнил страшные дни августа, когда над Москвой пронеслись незримые разящие вихри, слышались свисты перепончатых крыльев, удары отточенных клювов, цепких когтистых лап. От этих энергий разрушалась броня бэтэров, слепли экипажи, цепенели властители, выходила из строя неповоротливая государственная машина. Всю неделю Москва была во власти незримых, налетевших невест откуда существ. И когда они улетели, прежняя власть была уничтожена, исклевана и обглодана. В Кремль вселился Ельцин, и история, натолкнувшись на незримую преграду, остановилась на мгновение и двинулась в другом направлении.

Эту остановку истории, толчок и изменение траектории Земли чувствовал в те дни Хлопьянов, блуждая по ошпаренной, ободранной и оскверненной Москве.

– Как действует эта энергия? – спросил он у Сальмона, испытывая парализующее действие застекленных розовых сгустков.

– Воздействует на психические коды личности. Искривляет логику поведения. Управляет поступками и приводит к алогичным действиям. Как вы знаете, можно искривлять магнитную силовую линию, искажать гравитационное поле, видоизменять тепловое поле. Точно так же можно искривлять логическую линию, добиваясь от индивида нелогичных, аномальных поступков. Я вам открою секрет. На Первом съезде Советов, собранном Горбачевым, присутствовала большая группа парапсихологов, уже имевших карты психологического поведения и самого Горбачева, и Сахарова, и Лукьянова, и многих известных политиков. Эта группа вела управление Съездом. Результат превзошел ожидания!

Хлопьянову казалось, что его разыгрывают. В серьезных профессиональных интонациях Сальмона чувствовалась едва уловимая насмешка. Эта насмешка могла означать, что все сказанное было шуткой, фантазией, интеллектуальной игрой. Но этаже насмешка могла означать превосходство, презрение, господство победителя.

– Но ведь должен быть генератор энергии? – Стерильная белизна палат ослабляла его волю и разум и действовала, как пары эфира. – Где ваша психотронная пушка?

– А вот наш генератор, вот пушка! – Сальмон повел рукой по белым стенам, полупрозрачным теням, по лицам гостей, в каждом из которых таился заряд ненависти, страха, ядовитой неприязни. Лица, искаженные, со смещенными осями симметрии, казались спусковыми крючками, готовыми к моментальному одновременному залпу.

– Значит, и я являюсь деталью вашего генератора? И меня вы рассматриваете, как источник энергии?

– Позвольте ваш пульс! – полушутливо, играя, изображая озабоченного доктора, сказал Сальмон. Взял Хлопьянова за запястье. Извлек из кармана часы, толстые, золотые, с несколькими циферблатами. Сжал своими цепкими пальцами запястье Хлопьянову и стал смотреть на стрелки розовыми глазами. Хлопьянову казалось, что в вену ему проникают тончайшие экстракты и яды, разбегаются по крови, заносят в его жизнь невидимые отравы. Когда Сальмон отпустил его руку, на запястье продолжал гореть малый ожог, словно укус змейки.

Между тем из череды фланирующих гостей отделился чернобородый белозубый армянин. Громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и произнес:

– А теперь, друзья, когда все собрались, мы можем приступить к нашей еженедельной встрече. Обсудить очередную насущную проблему, используя метод «мозговой атаки». Как всегда, обещаю вам, все самые ценные выводы я доложу президенту. Вы знаете, как ценит наш президент общение с интеллигенцией. Как плодотворно это общение с обеих сторон... Прошу садиться!

Все с готовностью стали рассаживаться вокруг дубового стола в удобные кресла, образуя два тесных ряда. Армянин из президентского совета черноглазо и живо их всех оглядывал, белозубо улыбался и одновременно своими кивками и улыбками заставлял садиться, готовил к коллективному действию.

– Вы знаете, – продолжал советник, – противостояние нашего Президента с Хасбулатовым и Руцким, а также с Верховным Советом достигло предела. Оно парализует реформы, сотрясает власть и чревато гражданской войной. Этот узел надо разрубить, и он будет разрублен одним ударом. Президент надеется на вашу поддержку. Все президентские службы готовят юридическое, силовое, информационное обеспечение этого удара. Сейчас мы должны высказывать суждения по этому драматическому поводу!

Он обвел всех жгучими глазами, излучавшими фиолетовый свет, как угольки в угарной печи. И Хлопьянов почувствовал кружение головы и удушье, словно и впрямь угорел.

– Прошу вас, сударыня! – обратился он к вдове академика, которая ревниво ожидала этого первого приглашения, нервно чадила сигаретой.

– Этих двух гадин, Руцкого и Хасбулатова, нужно убить! Как убивают клопов и улиток! Чтобы вытек сок, и конец! Я буду просить, нет, буду требовать у президента, чтобы он выполнил свой исторический долг, добил гадину! Я говорю это не только от моего имени, но, поверьте, и от имени Андрея Дмитриевича! Не могу вам всего раскрыть, но он оттуда, с неба, обращается к нам и требует: «Раздавите их, как мерзких букашек!»

Она нервно дернула рукой с сигаретой, уронила на стол сухой пепел. Жадно затянулась, выпуская ядовитую струю дыма. И Хлопьянову померещилось, что рука, сжимавшая сигарету, костлявая, в черных венах, превратилась на мгновение в куриную лапу, а серая струя дыма – в трубу, направленную к световому оконцу. Туда, в дождливое оконце, в летний город, по этой

трубе была выпущена ядовитая сила, полетел заряд, достигая невидимой цели. И кто-то уже был ранен, страдал, умирал, обожженный тлетворным дыханием.

– Умоляю, дайте мне на них компромиссы! – требовательно и капризно воскликнул телевизионный начальник, дрыгнув под столом короткими ногами, отчего шелкнули, как орехи, его длинные каблуки. – Через десять часов эфирного времени люди будут плевать при одном их имени. Если их посадят в тюрьму или оторвут им головы, люди закажут молебен и поставят свечки в церквях! Вы не используете мощь телевидения! Хотите, сделаю из них идиотов? Хотите, разбойников с большой дороги? Хотите, фашистов, наследников Гитлера? Но будьте любезны, обеспечьте мне безопасность! Поставьте у телестудии заслоны солдат! Ведь это меня они грозятся повесить!

Он слегка капризничал и кривлялся. Кокетничал, шелкая каблуками. Его носатое пучеглазое лицо нестареющего комсомольского вожака вдруг, – когда Хлопьянов чуть прищурил глаза, – превратилось в темную дымную прорубь, и из этого пара вдруг высунулась рыба морда, чмокнула ртом, провернула в орбитах красные с ободками глаза и скрылась. Прорубь смерзлась, и в ней вылепился мясистый нос, шевелящиеся губы, трусливо-капризное лицо маленького злодея.

Следующим выступил в дискуссии авиационный маршал. Деликатно, любезно подтянул вверх свои губы-колбаски и улыбаясь и как бы стесняясь своего военного прошлого, произнес:

– Надо прежде всего вывезти из Дома Советов имеющийся там арсенал. Надо увезти оружие и оставить им одни микрофоны. А потом и их отключить. Когда у них замолчат телефоны и погаснет в залах заседания свет, они с миром разойдутся по своим депутатским квартирам пить пиво. Но если не разойдутся и достанут оружие, их надо бомбить! – он продолжал улыбаться, подтягивая колбаску верхней губы. – На решающих переломах борьбы за власть нельзя церемониться. Большевики бомбардировали Кремль. Политбюро бомбардировало дворец Амина. Пиночет бомбардировал резиденцию Альенде. Были разрушения, были пожары, но наградой была власть! Мое мнение: или пусть они убираются вон, или их надо бомбить!

Хлопьянову показалось, что веревочки, прикрепленные к губам, продолжали натягиваться, кожа и ткань лица стали сворачиваться вверх, как чехол, и под чехлом обнажилась легированная нержавеющей поверхность черепа с поворотными шарнирами, мигающими индикаторами, датчиками слуха и зрения. Вместо маршала был явлен беспощадный робот-убийца. Под воротник рубахи в стальную трубу горла уходили цветные жгуты проводов, и что-то негромко шелкало, шелестело, искрило.

Хлопьянов понимал, что перед ним были обыкновенные люди, из кожи и костей. Одни из них старые, другие немощные, коим недолго быть на земле. Но одновременно это были и нелюди, обманно напаявшие на себя людские личины. Этот обман обнаруживался в них внезапно протянутой птичьей лапой, или рыбьей чешуей на лице, или клочком шерсти в глазах, или козлиной ногой в туфле. Каждый из них, кто из глаз, кто из рта, кто из отверстия в животе и паху, излучал бестелесную энергию, пучками, лучами, волнами направляя ее в световое оконце, в мир. Эта энергия уносилась в город и поражала там невидимые цели, парализовала и мучила, обрекала на страдания и корчи. Сальмон деловито расхаживал, манипулировал руками, словно вводил поправки в прицелы, уточнял координаты целей.

«Духи, – шептал Хлопьянов, чувствуя слизистыми оболочками ноздрей и губ присутствие этих обжигающих энергий. Испытывал каждый раз, как начинали говорить за столом, ожог боли, – духи злые»...

Говорил депутат-перебежчик, известный своей недавней близостью к Хасбулатову. После того, как ему посулили пост министра и отправили в командировку в Америку, он перешел на сторону президента. Хлопьянову было неприятно его помятое, складчатое лицо с выпуклым подбородком, напоминавшее изжеванный старый ботинок, расшнурованный, с отстающей подошвой, откуда высовывается грязный палец.

– Тут не следует, на мой взгляд, торопиться! – говорил депутат, и Хлопьянов не мог отыскать на его лице глаза, словно они были зашиты. – Что пользы, если разгоним парламент? Ведь есть еще оппозиция. Надо дать ей собраться в парламенте. Пусть придут со своими знаменами, своими лидерами, боевиками. Тогда их и прихлопнуть всех вместе! Как на медведей охотятся? Выкинут дохлую лошадь и ждут, когда со всей округи сойдутся. Тогда и бьют их из засады до последнего! Руцкой – это дохлая лошадь! – он смеялся, а Хлопьянов не мог отыскать на его лице губы, а только отваливающуюся подошву, грязный шевелящийся палец.

Банкир, бело-румяный, чернобородый, рассматривал свой крупный алмазный перстень:

– Передайте президенту, что ради его окончательной победы мы отдадим все свои капиталы. Снарядим людей, добудем для них оружие, снарядим транспорт. Пусть он расправится с этой коммунистической и фашистской заразой! Надо их всех туда заманить, а потом весь дом, все подъезды и окна замуровать, залить бетоном, как в Чернобыле. Пусть вместо этого мерзкого дома стоит саркофаг! Сколько надо бетона? Сколько бетонных заводов? Куплю на свои! Президент знает, банкиры сделали свой выбор!

Он любовался перстнем и был похож на сочную черно-красную гусеницу, поместившуюся на утреннем, осыпанном алмазной росой листе. Нацелился на аппетитную кромку, чтобы жевать, извиваться, оставляя после себя зеленые комочки переваренной материи.

Ему вторил поэт-пародист, извиваясь на стуле, словно у него не было позвоночника.

– Мы, писатели, не можем идти на штурм коммунистического логова! Не можем вешать на фонарях! Для этого, я надеюсь, найдутся другие мужественные и сильные руки. Но мы можем все как один воскликнуть: «Снимите с них скальпы!» «Забейте им в глотку осиновый кол!» Это я обещаю! Пусть стар и млад, актер и художник, больной и здоровый, все как один воскликнут: «Пусть вешающие и стреляющие руки не дрогнут! Ибо это праведная и священная месть!»

Он извивался в непрерывных конвульсиях, проталкивая сквозь свой длинный червеобразный кишечник катышки ненависти. Его лупоглазое лицо увлажнилось, а у кончиков губ выступила млечная пенка.

Хлопьянов понимал, что присутствует не на дискуссии интеллигентов, не на семинаре политологов, не на встрече единомышленников. А при загадочном магическом действии, где каждый из участников путем таинственных ухищрений аккумулировал в себе пучок злой энергии. Прицельно и точно выстреливал ею в невидимые, обозначенные заранее цели. Присутствующие использовали для этого особую таинственную биологию, свое друг с другом соседство, словно незримо совокуплялись и в миг соития извергали из себя убивающие пучки.

«Духи», – повторял Хлопьянов, чувствуя, как от близости к ним начинает перерождаться его собственная плоть. Он не уходил, подвергал себя риску, как исследователь, понимая, что случай подарил ему неповторимую возможность обнаружить жуткую тайну. Проникнуть в ее природу, обезвредить и многих уберечь и спасти.

Пресс-секретарь президента был похож на маленького косматого зверька. Скалил желтые зубы, привыкшие грызть и точить. Вот-вот засунет в карман соседу цепкую волосатую лапку, извлечет и раскусит грецкий орех.

– Хочу лишь добавить. Ни в коем случае нельзя забыть об юридической процедуре ареста участников смуты. И о необходимости нейтрализовать православную церковь, чей моральный авторитет может быть использован против нас!

Злая обезьянка держала в зубах орех, заталкивала его поглубже за щеку. Щека, покрытая желтоватой нечистой шерсткой, бугрилась, а зверек раздраженно почесывался, нащупывал в мохнатом боку жалящее и кусавшее его насекомое.

Экономист-реформатор с выпуклой грудью и огромным печально свисающим носом, похожий на пеликана, крикливо, по-птичьи требовал к себе внимания:

– Мы должны заручиться поддержкой посольств! На случай успеха и на случай провала! Было бы правильно каждому получить выездную визу. Если мы проиграем, это обеспечит нам спасение от фашиствующих толп. Если выиграем, то отправимся в триумфальное путешествие за границу объяснить мировой общественности смысл нашей новой политики!

Хлопьянов отчетливо различил постукивание клюва и тугой шелест перьев. Глубокий утробный звук, смесь хруста и бульканья, сопровождающий переваривание съеденной пеликаном лягушки.

Все они, здесь заседавшие, были странными гибридами людей и животных. Птицерыбы. Моллюскообразные. Червевидные. Насекомоподобные. Курили сигареты, смотрели на часы, поправляли галстуки, раскланивались друг с другом. Но в урочный час сосредотачивались, делали одинаковое напряженное выражение лица, выбрасывали из себя квант ядовитой энергии. Хлопьянов прослеживал траектории и смертоносных пучков. Они летели сквозь окно над сырыми крышами, шелестящими бульварами, над Садовым кольцом и брусчаткой Красной площади. Пронизывали Василия Блаженного и штырь высотного здания. Достигали белого Дворца на набережной, где в этот час заседал парламент, и спикер едким недовольным голосом урезонивал кого-то, прорвавшегося к микрофону. Невидимые сгустки энергии вонзались в стены Дворца, в деревянные обшивки кабинетов, в ткань дорогих гобеленов, в пластмассовую обшивку потолков и лифтов. И все это начинало дымиться. Сочились едкие дымки, тлели угольки. Огонь хватал ковры и портьеры. Душное пламя начинало гудеть в коридорах. И вот уже весь Дом был охвачен пожаром, кидал в высоту жирные космы дыма. Зловещий черно-красный пожар отражался в Москва-реке, и по этому золотому отражению медленно шла баржа.

«Крематорий», – шептал Хлопьянов. – Операция «Крематорий»! – И ему казалось, что он теряет рассудок.

– Дамы и господа! – армянин-советник звонко хлопнул в ладоши, прекращая прения. – Полагаю, и на этот раз мы выполнили свое предназначение! Высказали свои суждения, свое понимание момента! Президент вас услышит. Ну а теперь, как обычно, нашу встречу завершит необременительная трапеза, которой нас угощают наши дорогие хозяева, сопровождая ее, как всегда, изобретательной выдумкой!

Он обольстительно улыбался, кланялся владельцу алмазного перстня. Обращаясь к дверям, как фокусник, хлопнул несколько раз в ладоши.

В дверях появились официанты в черных фраках. Несли переброшенные через локоть красные скатерти. Широкими взмахами стелили их на дубовый стол. Хлопьянов вдруг разглядел, что это были красные советские знамена. Одно с изображением герба, другое с Лениным, третье боевое, с надписью: «За нашу советскую Родину!» Собравшиеся смеялись, щупали знамена, пощипывали шелковые вышивки и золотистую бахромку.

Опять появились официанты, неся подносы с пивом и грудями розовых, охваченных паром креветок. Расставляли яства на красных полотнищах, среди гербов и надписей.

– Угощайтесь, прошу вас! – приглашал армянин.

Все кинулись уничтожать креветок, наливали в высокие стаканы пиво. Ломали хрустящий хитин, сорили на стол, впивались в сочную сладкую мякоть. Знамена покрылись сором, ошметками, потеками пива. Собравшиеся урчали, скрежетали, попискивали. Креветка в руках у вдовы академика, живая, хохочущая, раскрывала навстречу вдовице свой острый усатый рот, а та, превратившись в жука, шевелила усами и лапками, раскрывала черные костяные надкрылья.

Они вышли вместе с Каретным. Каретный обещал позвонить. Хлопьянов жадно хватал сырой свежий ветер. Брел под дождем, чувствуя, как пропитывается холодной освежающей влагой. Не понимал, где он только что был. Что с ним случилось. Кого он видел в бестелесном свете белокаменных палат.

«Духи», – шептал он, подставляя лицо холодным брызгам.

Глава десятая

Он вернулся домой, тело под рубахой горело, и раздевшись перед зеркалом, он увидел на груди, на плече длинный ряд волдыриков, словно его хлестнули крапивой или пробежала по телу жалящая сороконожка. Каждый волдырик был окружен красным ободком, и он знал, что это скользнул по нему луч незнакомой энергии.

Он отправился в ванную, пустил воду. Смотрел, как шумно летит струя из хромированного крана, наполняется ванна и струятся в водяной толще кольца света. Достал с полки бумажные коробки с сухими травами, которые сам собирал на склонах гор. Перетирал пальцами почерневшие, ржавые соцветия и листья, вдыхал горькие ароматы полыни, ромашек, чабреца, тысячелистника. Вспоминал горячие сухие склоны, шуршание стеблей, маслянистый мазок на пальце от раздавленного резного листочка.

Он брал горстки трав, кидал в горячую воду. Они распускались, начинали благоухать, превращали воду в черно-золотой душистый настой. Он погрузил свое обожженное тело в целебный раствор, чувствуя, как ожившие соки растений тронули его кожу, омыли пораженную ткань, окутали лицо туманным благоуханием.

Он дремал в ванной, вдыхая запахи сена, и благовонный отвар вымывал из него все отравы и яды, замещая их каплями цветочного сока, пыльцы и нектара. Кожа его выздоравливала, ожоги на глазах исчезали. Он вышел из ванны розовый, свежий, наблюдая, как исчезает в воронке отравленная им черная жижа.

Он сидел в комнате, глядя на старинный буфет, где за разводами водянистого стекла голубела чашка, оставшаяся от бабушкиного свадебного сервиза. Думал, что приключилось с ним в белокаменных палатах. В какую историю вовлек его старый афганский друг. В какой зависимости от него оказался. Ему умышленно, Бог весть из каких побуждений, показали секретную встречу, где планировался политический заговор. Влиятельные известные люди замыслили истребление парламента. Ему открыли заговор и тем самым сделали соучастником. Старый товарищ Каретный, опытный и умный разведчик, доверил ему часть государственной тайны, и теперь Хлопьянову предстоит обойтись с этой тайной. Либо служить ей, стать частью заговора. Либо бежать и скрыться, уклониться от страшного знания. Либо идти с этим знанием в стан оппозиции, оповестить вождей, разрушить план заговорщиков.

За окном высыхали жестяные московские крыши. В старом комоде среди ветхих материнских одежд был спрятан его пистолет. И Хлопьянов знал, что ему никуда не уйти от начертанной Богом судьбы. Его не спасут ни целебные травы, ни молитвы любимой, и он продолжит движение все по тем же кругам и бедам, куда влекла его жизнь.

Назавтра намечался митинг и шествие. Их проводил московский вожак, любимец бушующих толп. «Трибун», – так нарек его мысленно Хлопьянов. С Трибуном он встретится завтра на митинге, поведаст о зловещем заговоре.

К полудню он был на площади Рижского вокзала. Знакомая с детских лет, когда от зеленых витиеватых строений уносила его электричка в осенние леса под Волоколамском, и с разболтанной тулкой он бродил по сырым опушкам, слушал треск и рокот взлетавшего рябчика, следил, как мелькает в осинах белый заяц, посылая в него огненный выстрел, – теперь эта площадь оглядела его изумленно глазами зеленых строений.

Сквер перед вокзалом кипел толпой, пестрел транспарантами и знаменами. По улице еще мчались машины, но толпа не умещалась на сквере, выплескивалась на проезжую часть, и там тревожно вспыхивали лиловые мигалки милиции, постовые взмахивали полосатыми жезлами.

Густо, из соседних улиц, из метро, из троллейбусов и трамваев валил народ. Иные тут же разворачивали транспаранты и флаги, двигались к скверу, вливались в водоворот. Другие

некоторое время кружили поодаль, высматривали и примеривались. Прибывающая масса была не едина, распадалась на отдельные завитки и сгустки. В каждом была своя жизнь, свой лидер, свой символ и знак.

Хлопьянов двигался среди этих сгустков, напоминающих пчелиный рой. Искал Трибуна, исследуя одновременно, как пчеловод, эту рабухающую на глазах жужжащую массу, закон ее роста, ее внутреннюю, растущую с каждой минутой силу.

На высокой, изрядно помятой клумбе скопились сталинисты. Держали портретики Сталина, бережно покрытые целлофаном, приклеенные к деревкам изоляционной лентой. Это были крепкие старики с резкими целеустремленными морщинами, жилистыми рабочими кулаками, с красными бантами в петлицах. А также пожилые седовласые женщины с верящими глазами, прижимавшие к груди плакатики с надписями: «Товарищ Сталин, вернись!» Была и молодежь со свежими смысленными лицами, по виду студенты, на чьих пиджаках и рубашках красовались значки с изображением вождя. На вершине клумбы стоял оратор и в хрипящий, то и дело глхнувший мегафон восклицал:

– Он врагов народа к стенке ставил, поэтому и цены снижались, и войну выиграли, и в Космос полетели! Но, видно, товарищ Сталин не всех дострелял, и они его успели извести! Теперь мы без Сталина и без Родины, и без армии, и главный кровавый вражина засел в Кремле, как в берлоге, и оттуда нас добивает! И пока не придет новый Сталин, проку никакого не будет!..

Хлопьянов покружился в этой малой, завитой вокруг клумбы спирали, вынося из нее странное зрительное воспоминание. Он, первоклассник, стоит в пустом вестибюле школы, подходит к портрету Сталина, трогает золотой багет, и на пальцах его остается легчайшая золотистая пудра, пыльца одуванчика, крупички сусального золота.

У ограды под трехцветным имперским стягом собрались националисты. Было много пожилых бородатых монархистов и румяных молодцов в форме Добровольческой армии. Были точные копии замоскворецких купцов в сапогах бутылками, и копии половых из трактиров в распахнутых жилетках и косоворотках. Были профессорского вида интеллигенты и укутанные в расписные платки красавицы с кустодиевских холстов. У многих были двуглавые орлы в петлицах и эмалированные трехцветные эмблемы.

Хлопьянов остановился среди них, ловя обрывки их разговоров, музыку царских гвардейских полков, вырывавшуюся из кассетника.

– Всю эту масонскую символику с Красной площади долой! – говорил маленький оживленный мужчина с сединами старца и румянцем младенца. – Пентаграммы Троцкого с башен долой! Этот пепел нечестивцев и колдунов, замурованный в стены, долой! И самого магистра Ульянова-Ленина, пропитанного смолами и ядами скорпионов, долой! Вот увидите, снесем символику сатаны, и сатана отступит из России!

– Я с вами абсолютно согласен! – вторил ему усатый, барственного вида господин в фуражке, похожий на предводителя дворянства. – Недавно я ездил в мою родовую усадьбу под Клин. Дом еще вполне приличен, пруд и парк целы. Я буду ходатайствовать о возвращении мне моего родового поместья!

Хлопьянов и с ними постоял, проникаясь их интонациями, словно дымом костра. Было ощущение, что его пиджак и рубашка покрылись легчайшим серебристым пеплом сгоревших времен, и от этого было странно и больно.

Он перешел к следующей группе, состоявшей из военных в офицерских мундирах. Они стояли под красным штандартом, тут же разворачивали транспарант с надписью: «Союз офицеров». Худощавый, с усиками, в темных очках – «Офицер», как тут же окрестил его Хлопьянов, – узнаваемый по телепередачам и газетным снимкам, говорил в мегафон:

– Пусть режим не надеется на продажный генералитет, засевающий в теплых сортирах на своих приватизированных дачах! Средний комсостав, командиры полков и батальонов, с нами!

Они не пойдут за предателями, превратившими великую армию в придаток американской морской пехоты! Мы не позволим уничтожить цвет русского офицерства!

На его мегафонную речь сходились крепкие, коротко стриженные мужчины. Гражданское платье не скрывало их стать и выправку. Они держали руки по швам, глаза угрюмо смотрели из-под насупленных бровей. Хлопьянов поймал себя на том, что и он, подобно им, отвел назад плечи, убрал живот, прижал к бедрам руки.

Он продолжал свое медленное кружение по площади среди флагов и транспарантов, словно перетекал из одного сосуда в другой, и в каждом был свой настой и отвар, свой замес. Звучали свои особые речи, своя музыка, колыхались особые стяги, и выражение лиц и покррой одежд были неповторимыми и особыми. У Хлопьянова было странное ощущение, – хоть все говорили по-русски, но каждый о своем, часто отрицая другого. Будто это был не единый народ, а несколько разных народов, вычерпанных из разных историй. Некогда единое целое теперь было расколото, измельчено, продолжало дробиться, истираясь в крупу.

Стройные молодые люди в черной форме, перетянутые портупелями, продавали брошюры с названием «Черная сотня», зазывали покупателей:

– История истинно русского национального движения!.. Раскрытие жидо-масонского заговора!.. Военно-православный орден русских!..

Загорелая, бедно одетая женщина размахивала плакатиком с надписью: «Крым – часть России!», выкрикивала:

– Русские братья! Если вы не поможете Крыму, туда придут турки! В Севастополе, городе русской славы, построят мечети и поднимут флаг с полумесяцем!

Поодаль, одинокий, похожий на языческого Леля, стоял юноша с золотой перевязью на голове. Играл на берестяном рожке, пританцовывал, притоптывал красными сапожками.

Хлопьянов ходил среди народа, растерянно перебрывая от одного кружка к другому, не понимая, что объединяет людей, кто какому Богу молится, какому вождю служит. И кто он сам, потерявший профессию, армию, Родину, к какому кружку примкнет, в какой строй вольется.

На него набежал и бурно обнял Клокотов. И сразу же редактора стали тормошить, отвлекать почитатели. Протягивали для автографа свежий номер его газеты с большой карикатурой, где уродливый, звероподобный Ельцин топтал мохнатыми лапищами Россию. Клокотов, польщенный вниманием, но и раздраженный, задерганный, писал бегло на полях газет, одновременно говорил Хлопьянову про Трибуна:

– Его еще нет, но и когда придет, здесь, в народе, с ним говорить невозможно! Подведу тебя к нему после митинга, в Останкине, там поговоришь!

Он чертил в который уж раз свой автограф, прорывая ручкой газету. Какая-то немолодая измученная женщина протягивала ему благодарно букетик цветов. Мегафон, перекрывая рокоты улицы, громогласно возвестил:

– Внимание!.. Приступаем к выдвижению!.. Формируем колонну!.. Дружинники «Трудовой Москвы», занимайте места в голове колонны!..

Повинуясь властному управляющему голосу, вся разрозненная толпа стала медленно и неохотно сдвигаться на проезжую часть. Останавливала транспорт, наполняла улицу флагами, хоругвями, длинными полотнищами. Выстраивала в рыхлую, твердеющую колонну, которую цепями окружали дружинники. Среди них мелькали организаторы в красных повязках, с громкоговорителями. Обтесывали, ровняли колонну, кого-то понукая, одергивая. Колонна дышала, упиралась в невидимую черту, порывалась двигаться, замирала нетерпеливо. Несколько милицейских машин нервно и воспаленно мерцали мигалками. Полковник милиции, осматривая колонну, что-то возбужденно передавал по рации.

«И мое здесь место!..» – думал Хлопьянов, встраиваясь в ряды демонстрантов, помещаясь между мужчиной в пластмассовой каске и женщиной с букетом гвоздик. Красное полотнище колыхнулось, легло ему на лицо, превратило мир в огненное свечение.

– Расступись!.. От середины!.. Влево-вправо десять шагов!.. – повелевал мегафон.

Народ раздался. В открытое русло стал вливаться, вдавливаясь, раздвигая толпу, огромный ковчег, – зеленый, ребристый, двухкабинный тягач для перевозки ракет. На тягаче была установлена сварная рама, на ней висели колокола. Тягач был украшен цветами, флагами, обклеен листовками, транспарантами. Был похож на сказочного кита, выгнувшего спину, на которой росли деревья, стояли дома и церкви, расхаживали люди. В разные стороны торчали раструбы громкоговорителей. В кабине сквозь стекло виднелась голова водителя, словно его проглотил кит и держал в застекленном чреве. Среди колоколов сидел звонарь, опутанный веревками, дергал плечами, ногами, руками, извлекал из колоколов рокочущие шумные звоны. Над цветами и флагами, возвышаясь над кабиной, в рост, стоял человек. Вскидывал вверх кулак, и громкоговорители разносили над толпой его яростные надрывные призывы. Это и был Трибун. Его появление на ракетовозе, с колоколами и музыкой, напоминало явление народу пророка, древний библейский въезд в город, только вместо священного осла был зеленый прокопченный ракетовоз. Толпа ревела восторженно. В воздух летели цветы. На деревьях, на крышах домов, в распахнутых окнах виднелись люди. Все было пестро от цветов и полотнищ. В небе, разнося благую весть, звенели колокола, а сама весть, пропущенная сквозь динамики, реяла над толпой, жгла ее, грозила, укоряла, дразнила, и толпа, глядя на своего кумира, на взмах его маленького кулака, скандировала, тянула вверх тысячи стиснутых кулаков.

Хлопьянов двигался рядом с ракетовозом в клубящейся горячей колонне. В явлении Трибуна было что-то чудовищное и великолепное. Жуткая и привлекательная смесь библейского и сиюминутного. Эkleктика и красота, соединенные животворящей энергией. Чудище ракетовоза, оклеенное плакатами, сбереженное и сохраненное от уничтоженной и поруганной армии, самодельная ликующая звонница, построенная в том месте, где прежде покоилось угрюмое туловище ракеты, звонарь, своими движениями и подскакиваниями похожий на скомороха, Трибун, как поводырь и вождь племени, возвещающий своему народу божественное откровение, ведущий свой народ через моря и пустыни в обетованные пределы, – все восхищало Хлопьянова. Он вдруг почувствовал освобождение от бремени собственной изнуренной воли, одиноких переживаний и страданий, вручил свою волю толпе, ее мерному колыханию, качанию, поверил вещавшему из цветов и флагов человеку. Не различал слов, а одну громающую, страстную, верящую интонацию. Так и шел, окруженный людьми, время от времени получая в лицо шлепок красного ситца, превращавшего небо и солнце в горячее зарево.

Шествие двигалось от Рижского вокзала к Останкино, через Крестовский мост, мимо кладбища, железнодорожных путей, складов. Наливалось, набухало, напоминало огромный распускавшийся бутон. Впереди, на пустом асфальте ехала милицейская машина с лиловой мигалкой, испуганно и ошалело мерцала. За ней, стараясь ее настигнуть, катился вал гула и грохота, звона и музыки, заливая улицу горячей шевелящейся лавой.

Дружинники, взявшись за руки, оцепили толпу. Не давали ей распасться, растечься в стороны. Держали ее в огромном неводе, тянули вперед. Толпа неохотно, недовольно повиновалась, всасывалась в этот огромный бредень, полный водорослей, донного ила, огромных неповоротливых рыб. Лишь отдельные люди выскакивали из толпы, как мелкая, прорвавшаяся сквозь ячею рыбешка.

Хлопьянов оглядывался на соседей. Впереди с красным флагом шел крепкий парень в спортивном костюме, в велосипедном картузе. Его бритый затылок блестел от пота, а рука, сжимавшая древко, переливалась мускулами. Рядом шагал чернобородый мужик в поддевке, в ямщицких сапогах, держал в руках кассетник, и из него, записанные на пленку, разносились церковные хоралы. Следом шагали немолодые женщины со счастливыми лицами, несли портретики Сталина, флажки и надувные шарик. Пели: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Чуть поодаль, за головами и флагами Хлопьянов разглядел знакомое лицо. Вспомнил, что видел его в кабинете у Клокотова, – физик, предлагавший заглушить телецентр

мощным электронным импульсом. Он радостно крутил головой, в петлице у него была красная живая гвоздика.

– Я бы эту сучью башню в Останкине руками разобрал! – говорил шагающий рядом рабочий в пластмассовой каске, показывая свои огромные корявые руки, которыми был готов ломать, вырывать остроконечную, уходящую в небо иглу, наполненную ядом, впрыскивающую этот яд в измученных людей.

– Это ихний главный оплот, Останкино! Им танков не надо, оставь у них телевидение, и они нашего брата на цепи держать будут! Говно с земли будем подымать и есть! – пожилая женщина в стоптанных туфлях шаркала, сбивалась с шага, торопилась к проклятой башне, чтобы там пригрозить этому идолищу, высказать свою ненависть.

– Как они в прошлом году нас долбали! – отозвался жилистый малый с красной повязкой. – Наши палатки под самой телебашней стояли. Третий день живем, как партизаны в лесу, на кострах готовим. Городок назвали: «Освобожденная территория Советского Союза». Эти полицаи, фашисты лужковские напали на нас в три часа ночи, аккуратно как немцы на Советский Союз! И пошли нас увечить! Детишек, баб сонных, по головам, по костям! Я от костяного хруста проснулся. Выскакиваю, фонарики ихние, каски белые, и стон кругом. Ну я дрину одну подхватил и крутанул ею пару раз по каскам! – парень усмехался, не мстительно, а довольно, вспоминая не побоище, а палаточный городок, крохотной лоскутик освобожденной родной земли.

На его усмешку отозвался изможденный голубоглазый человек, несущий ветряное черно-золото-белое полотнище. Он боролся с ветром, старался удерживать древко и, оборачиваясь к соседям, прочитал стихи:

Россия, Русь, когда же ты проснешься?
Ведь над тобой Иисус Христос вознесся!
Когда, родимая, подынешься с колен
И превратишь врагов в зловонный тлен?

Он вдохновенно и радостно читал, словно сочинял на ходу. И его сосед с красным флагом одобрительно кивал ему. Коммунисту нравился стих про Христа, и два их полотнища трепетали и обнимались в синем небе.

Шедшая впереди шеренга, состоящая из дружных и бодрых мужчин и женщин, взявших друг друга под руки, громко запела:

– Кипучая, могучая, никем не победимая, Москва моя, страна моя, ты самая любимая!.. Где-то рядом, за головами, за флагами и хоругвями, запели другое, невпопад с первым, но столь же воодушевленное:

– Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны!.. В третьем месте понеслось над толпой:

– Так громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит! Так за царя, за Русь, за нашу веру!..

Песни загорались в разных концах шествия, как костры. Хворост, который в них подкидывали, был разный, но огонь был един. Поджигал все новые и новые ряды в колонне, отовсюду доносилось: «Наверх вы, товарищи!»... или «Артиллеристы, Сталин дал приказ!..» или «Не слышны в саду даже шорохи...»

Хлопьянов подхватывал то одну, то другую песню. Радостно прислушивался то к одному, то к другому поющему ряду. Вдруг подумал, что, наверное, вот так, на сенокосе, на огромном поле разнесенные друг от друга разгоряченные люди блещут косами, ставят зеленые копны, оглашают поле криками и песнями.

Они проходили мимо коммерческих лотков, из которых выглядывали недружелюбные торговцы. Мимо магазинов с иностранными вывесками, где в дверях стояли молодые наглые владельцы. И ненавидя эти лотки и вывески, толпа начинала зло скандировать: «Позор!.. Позор!..». Раскачивала воздух, раскачивала лотки и магазинчики, раскачивала фасады соседних домов. Но когда из высокого одинокого окна кто-то выставил красный флаг, толпа восхищенно загудела, ликуя, загрохотала: «Ура!», замахала невидимому жильцу, словно это красное знамя вознеслось над рейхстагом.

Там, на вокзальной площади, входя в толпу, Хлопьянов поначалу испытывал неудобство, стеснение, чувствовал себя чужим. Одинокó кружил среди спаянных, слепленных, соединенных в тесные группы людей. По мере того, как продвигался среди возбужденного разномастного народа, овеваемый флагами, слушая многоголосие мнений, он начинал испытывать острое любопытство и азарт, стараясь изучить это многоликое скопище. Но когда тронулось шествие, вовлекло его в свою вязкую сердцевину, понесло на своих волнах, как малую, упавшую в поток соломину, он пережил миг освобождения, отказался от своей отдельной воли, вручая себя толпе. Как кидают в общую шапку кто копейку, кто серьгу, кто кольцо, так и он отдал толпе свои страхи, сомнения. Утратил свою отдельность, став частью непомерного небедимого целого. Он ощутил себя сильным, бесстрашным и верящим, – не потерялся в эти разрушительные страшные годы, не утратил товарищей и единоверцев. Они шли рядом с ним, единой колонной, с единой дыханием и волей. Он не мог бы сейчас сказать, во что он именно верил, под каким флагом шел, какую песню подхватывал, в какой громыхающий клик вслушивался, в какое скандирование вплетал свой голос. Важно, что он был не один, а с народом, непокоренным, не рассеянным, а сомкнутым и могучим. Шагая рядом с немолодым человеком в очках, похожим на инженера или учителя, стараясь не наступать на башмаки семенящей перед ним старухи с флажком, чувствуя, как напирает на него сзади рабочий в каске и алое полотнище в сотый раз прижимает к его лицу свой теплый ситец, – он вдруг пережил мгновение ликования и счастья. Любил их всех, идущих в колонне. Присягал их знаменам. Молча, одними губами, давал клятву на верность, на подвиг, на вечное служение.

Шествие достигло стальной зеркальной колонны, на которой улетала в туманное московское небо космическая ракета. Словно туча, тяжело и вяло, теряя сгустки и протуберанцы, шествие развернулось в сторону Останкино. И возникла игла, громадная, жестокая, яростно вонзившаяся в солнечную дымную высь. Хлопьянов, узрев ее из толпы, ощутил ее беспощадную мощь, ее пульсирующую напряженную силу, жгучие вихри, летающие с острия. Громада была живой, с гладкой натянутой кожей, многолапая, гибкая, оснащенная остриями и зубьями, нацелившая для удара блестящее жало. Шествие, в котором находился Хлопьянов, еще недавно поющее, ликующее, теперь стало ратью, молчаливым и сумрачным войском, пришедшим на битву с башней.

Толпа приближалась к стеклянному бруску телецентра. Тянулась вдоль пруда, за которым желтела усадьба, круглились купола красной церкви. Улицу преграждала двойная цепь милиции. Мигали вспышки. Вдалеке стояли грузовики и фургоны, в которых притаились солдаты. Толпа накатила на препятствие и неохотно, повинуясь закону вязкой и жидкой материи, стала вливаться на огражденную пустую площадку у подножия башни. Туда же вполз зеленый ракетовоз, залип среди людских голов, транспарантов и флагов.

Хлопьянов, оттесненный к милицейским рядам, наблюдал варево и шевеление толпы.

Истошно гудя, пытаясь проникнуть сквозь толпу, пробиралась машина. Остановилась, стиснутая телами, окруженная раздраженными лицами. Из нее выскочил рослый гневный человек в летнем дорогом пиджаке. Двигая локтями, стал пробираться к мерцающему вдалеке телецентру, к цепочке милиционеров, за которыми было свободное для продвижения пространство.

– Бездельники!.. Среди бела дня черт-те чем занимаетесь!.. – услышал Хлопьянов едкие слова человека. Узнал в нем известного телеведущего, чьи полночные передачи напоминали великосветский салон, куда хозяин, аристократичный, с изысканными манерами, приглашал потомков дворянских родов, заморских именитостей, политическую и художественную элиту. Слушая их сладкие манерные разглагольствования, Хлопьянов не мог отделаться от ощущения ненатуральности и фальши созданного ими мирка, помещенного среди горя и беды. Телеведущий с белыми манжетами, с уложенными в парикмахерской волосами, с жестами оперного актера, был паточно красив и внутренне порочен. «Дезодорант», – так мысленно прозвал его Хлопьянов, ассоциируя с ним парфюмерно-сладкий запах, призванный заглушить зловонье и смрад.

Теперь разгневанный красавец продвигался сквозь толпу плечом вперед, держа над головой маленький изящный кейс.

– Ну ты, тварь продажная, куда прешь! – провожали его люди, неохотно уступая дорогу, узнавая в нем телевизионную звезду.

– Подстилка демократов! Холуй херов!

– Макнуть тебя головой в дерьмо, куда вы народ макнули!

– Ну ты, мразь, куда на женщину давишь! Я тебя сейчас загримирую под покойника!

Его толкали, шпыняли, дергали за пиджак, все сильнее и злее, и тот наливался багровой ненавистью, страхом, торопился к спасительной милицейской цепочке. Народ закипал вокруг него, выражая свое отвращение, злобу к стеклянной коробке телецентра, где под охраной милиции гнездились мучители, безнаказанно жалили, отравляли, превращая жизнь людей в непрерывное, длящееся годами страдание.

Телеведущий пробился, наконец, к милицейскому ограждению, проник за него, растрепанный, нахохленный, набрякший. Его мясистое лицо, вывернутые губы, выпученные белки утратили аристократичность и светскость. Делали его похожим на рассерженного потного быка. Удалялся, оглядывался, грозил толпе кулаком.

Митинг между тем разгорался. На ребристую спину ракетовоза взбиралась ораторы. Черные раструбы громкоговорителей разносили хрипловатые и визгливые звуки, пропущенные сквозь мембрану. Будто слова были завернуты в металлическую фольгу, и их, как жарено, доставали из раскаленной печи.

Оратор с седыми всклокоченными волосами, среди флагов и венчиков цветов, взмахивал рукой. Вдыхал в микрофон свое сиплое дыхание, и толпа, как шар, раздувалась от этого дыхания.

– Они, как врачи-фашисты, своим паскудным телевидением делают опыты над людьми! Превратили каждую квартиру в психушку! Оттого наши дети и жены стали ненормальные, плачут, а народ стал послушный, как скот! Там сидят преступники, врачи-сионисты, оперируют на мозге русских людей!

Он указывал на башню, а она, серебристая, гибкая, наполненная яростной едкой энергией, трепетала в небесах, готовая нанести по толпе страшный удар. С ее вершины, выжигая небо, неслись лучи, палили, обесцвечивали, лишали теней, высвечивали насквозь до хрупких скелетов людские тела. Кровь превращалась в бесцветную жидкость. Кости и мышцы наполнялись ноющей болью. Толпа страдала, корчилась, отравленная радиацией, сморщивалась, оседала, отступала от башни.

Молодая пышноволосая женщина грозила кулаком башне:

– Они нас показывают уродами! Люди видят нас и плюются! Зовут нас дебилами и бомжами! А когда люди возненавидят, они нас будут стрелять, как зверей! А люди будут смотреть и смеяться!

Она грозила башне, устремлялась на нее, звала за собой толпу. Невидимые завихрения срывались с башни, отбрасывали назад ее волосы, и казалось, она начинает дымиться, окруженная ртутной плазмой. Толпа кидалась на башню, хватала ее руками, скребла ногтями, пыталась сломать, разобрать, добраться до ее сердцевины, где защищенные камнем и сталью прятались гибкие жгуты и обмотки. В этих сокрытых пульсирующих сосудах, пронизывающих туловище башни, мчались ввысь раскаленные ядовитые соки, высосанные из преисподней. Превращались в пучки лучей, уносились в пространство, обжигая леса и реки, города и дороги. От этих энергий засыхали и блекли дубравы, мелели реки, ветшали и шелушились фасады, а люди теряли рассудок. Сонно, безумно, с бельмами на глазах, брели, натываясь на столбы и падая в ямы. К этим потаенным, качающим яды сосудам рвалась толпа. Стремилась их перегрызть и порвать.

Выступал парень в камуфляже, в полосатой тельняшке. Бил вперед кулаком, как на ринге.

– На ихних экранах ни одного русского лица не видать! Одни евреи! Про русскую жизнь не узнать, а только еврейские посиделки! Сколько можно картавых слушать! Дайте русскому человеку слово сказать!

На ракетовозе, среди железных ромбов, окруженный флагами, возник Трибун. Маленький, резкий, одно плечо выше другого, стиснутый кулак, короткие рывки, будто он толкал вверх гирию. Голос, сорванный до хрипоты, ввинчивался, как фреза, в ретранслятор, вылетал оттуда бесконечной металлической спиралью. И в эту спираль втягивались людские души. Толпа обожала его, верила ему, была готова идти за ним на жертву и смерть.

– Мы будем требовать!.. Дайте трудовому народу слово на телевидении!.. Заткните рот предателям Родины!.. А если нас не послушают, мы придем и силой возьмем эфир!.. Разнесем к чертовой матери это логово разврата и лжи!..

Хлопьянов увидел, как с башни потянулись к Трибуну щупальцы и лопасти света. Искли его, сводили на нем огненный фокус. Спасая Трибуна, Хлопьянов устремился навстречу башне, заслонил, принял грудью огненный прожигающий шуп. Почувствовал, как стало нестерпимо в груди, как ослепли глаза, ударил в голову красный дурман. И всей своей жизненной силой, всей волей, молитвой и ненавистью удерживал страшное давление башни. Вгонял обратно лучи, возвращал в преисподнюю ядовитые соки. Ему показалось, что башня дрогнула, по ней в нескольких местах пробежали надломы и трещины. Она стала раскалываться, падать, как гнилой ствол, осыпая электрические искры и реки огня.

Обморок его длился мгновение. Очнулся, – с ракетовоза выступал новый оратор. Мегафонные рыки и хрипы. Башня, заслонившая солнце, распушила ворохи слепящих лучей.

Митинг кончился. Народ расходился, – распадался комьями, гроздьями, как распадается вязкий пчелиный рой. И в центре его обнаружилась матка. Трибун, окруженный почитателями, раздавал автографы, отвечал на восторженные приветствия и славословия.

Редактор Клокотов, схватив Хлопьянова под локоть, протиснулся вместе с ним к Трибуну.

– На несколько слов!.. Мой хороший друг!.. Есть важное для вас сообщение!..

Трибун оглядел их рассеянно, неохотно отрываясь от обожателей. Шагнул вместе с ними за металлический уступ тяжелой машины, где не было людей. Хлопьянов представился, стал бегло и сбивчиво рассказывать о сходе в белокаменных палатах. Об очевидном плане и заговоре, имевшем целью сокрушить оппозицию.

– Это вполне достоверно!.. – говорил он, пытаясь поймать бегущий взгляд Трибуна. – Они планируют заманить оппозицию!.. Всех в одно место!.. Создать ловушку и там прихлопнуть!.. План «Крематорий»!.. Я имею доступ к противнику!..

Трибун рассеянно слушал. Был возбужден, экзальтирован. Все еще мысленно находился на железном горбу машины. Вещал в толпу, получал в ответ немедленный яростный отклик. Был счастлив, опьянен. Лицо его было в малиновых пятнах, губы дрожали, словно по ним

пробежала судорога. Кулак продолжал сжиматься. Из всего, что сказал Хлопьянов, его задела одна-единственная фраза об общей для всех ловушке.

– Вы сказали «Всех в одно место...» А почему Руцкой и Хасбулатов решили, что я пойду в это место? Почему Зюганов считает, что я приведу народ?... Как делить портфели и почести, как сидеть в президиуме, о нас забывают! Мы для них – темный люд! А как собрать массовку, как вывести народ на улицы, так сразу ко мне!.. Нет, извините!.. Мы здесь с трудовым народом на мостовой и на митингах, под милицейскими дубинами! А они там, в своих гостиных и кабинетах!.. Нам не по пути!

– Да я не об этом!.. Они всем смерти желают!.. Прольют кровь!.. Я пришел вас предупредить!.. Глаза Трибуна на мгновение стали осмысленными. В них исчез восторженный блеск и дурман.

В остановившейся глубине появилась тревога, острый интерес. Но из-за угла ракетовоза появилась группа женщин с флажками и красными гвоздиками. Окружили, махали цветами, старались прикоснуться к своему кумиру, протягивали ему открыточки и блокноты для автографов. И глаза Трибуна вновь подернулись туманной счастливой поволокой. Он успел сказать Хлопьянову:

– Видите, здесь невозможно!.. Приходите на следующей неделе в мой штаб, там перемолвимся!..

И забыв о Хлопьянове, обернулся к женщинам, стал им что-то внушать, пожимал им руки, хохотал, витийствовал. Был среди любящих его, верящих ему, ловивших его дыхание и его слова.

Хлопьянов, огорченный, усталый, брел по пустому асфальту. За деревьями янтарно светила усадьба. Возвышалась несокрушенная башня. На асфальте краснела оброненная ленточка.

Глава одиннадцатая

После встречи с Трибуном он был огорчен и подавлен. Нес ему грозную весть, боевую, добытую у врага информацию, но не был услышан. У людей, к которым стремился, которым желал служить, – у них отсутствовал слух. Они жили среди уличных гулов, мегафонных стений, колокольных звонов, голошений толпы, но не слышали тихих шепотов, в которых таилась опасность. Были неспособны к молчаливым раздумьям. Не умели оценить угрозу, определить ее размеры и точным ударом ее обезвредить. В них была обреченность изолированных, не связанных друг с другом вождей, находящихся под наблюдением врага, который знал их слабости, пользовался их честолюбием, мешал согласованным действиям. Хлопьянов хотел им помочь, но не был услышан.

Теперь по рекомендации все того же Клокотова он встречался с лидером тех, кого враги со страхом и ненавистью именовали русскими фашистами. То и дело мелькали на экране молодые люди, выбрасывающие вперед руку, красно-белые перевязи с геральдикой, похожей на свастическую, и лицо человека, сероглазое, с белесыми усиками, кого соратники называли Вождем.

Хлопьянов был приглашен на встречу, но она намечалась не в Москве, а за городом, где проходил тренировочный слет и учебные стрельбы одного из отрядов Вождя.

Хлопьянов сел в электричку все с того же Рижского вокзала, откуда когда-то уезжал на охоту, и вид обшарпанных вагонов, запах железа и шпал, не изменившиеся с тех пор лица пассажиров породили в нем забытые переживания – счастья, тревоги, молодого нетерпения. Словно в душе, усохшей и тусклой, дрогнул, наполнился соками, распустился зеленый лист.

Полупустой вагон стучал и поскрипывал. За невымытыми стеклами мелькали склады, мосты, массивы домов. Электричка с трудом пробиралась сквозь сумрачные окраины, груды металла, толщу бетона, облака железного дыма. На кратких остановках входили люди, рассаживались на желтых лавках с одинаковыми терпеливыми лицами, готовые долго и скучно ехать в этих шатких неопрятных вагонах, среди бесформенных туманных окрестностей.

Хлопьянов всматривался в пассажиров. Старался угадать давнишний, наполнявший вагоны люд. Бойких долгоносых старушек в плюшевых пальтушках и валенках, с набитыми кошелками. Подвыпивших, в телогрейках и ушанках, рабочих, которые громко плюхались на лавки и тут же начинали забивать «козла», распространяя вокруг запах водки, мазута и лука. Волоколамских молодух, длиннолицых, синеглазых, с бирюзовой капелькой серьги и красными стеклышками бус на нежной шее. Они отрешенно, погружаясь в таинственное созерцание, щелкали семечки, наполняя ладонь серебристой шелухой. А он, юноша, тайно мечтал прикоснуться губами к их бусам, почувствовать прохладу стекла, теплую нежность шеи. Теперь в пассажирах он угадывал прежних попутчиков. Приближая лицо к окну, проносящимся фермам и мачтам, он воскрешал давнишние образы.

Пышная снежная насыпь, и по ней в солнце, в синих тенях убегает заячий след, сквозь кусты, к березам, в их млечные голубые стволы. Сквозь окно он жадно ловит глазами этот след и потом в лесах, скользя вдоль опушек на лыжах, проваливаясь в глухие, заваленные снегом овраги, замирает от счастья, наблюдая полет лазоревой сойки в зеленоватом морозном небе, и красные вензеля и спирали, оставляемые белкой в ветках голой осины, И внезапный взрыв, удар, шумный скок зайца, и вслед ему, промахиваясь, царапая дробью наст, дымный огненный выстрел. Огорченный промахом, с колотящимся сердцем он щупает горячими пальцами след, оставленный заячьей лапой.

Или за насыпью, за мельканием телеграфных столбов – весеннее мелколесье, солнечная блестящая топь. В черном маслянистом болоте бегущее отражение солнца, и так хочется туда, к воде, к блеклой траве, идти в сапогах, булькая в прозрачных лужах, выбредая на сырое, в белесой стерне поле. В вечернем солнце блестит каждая соломинка, набухает тяжелая багровая

пашня, розовеют в дымке прозрачные вершины берез. Он стоит с ружьем под гаснущей длинной зарей, слушает, как поет одинокая птица. Огромная, с маслянистым блеском луна встает над лесом, и ее желтый лучик скользнул по стволу ружья. Одиноким, счастливым, он стоит среди вечерней природы, отыскивает в небесах первую водяную звезду. Из-за кромки берез, черный, с серповидными крыльями, косо и плавно выносится вальдшнеп. Наугад, навскидку, в скопление звезд и ветвей он пускает грохочущую красную метлу, и стоит, потрясенный, запомнив на всю остальную жизнь, черную, с опущенным клювом, плавную птицу.

Или осенняя электричка мчит его сквозь золотые леса, и внезапный косой дождь, и в дожде озаренный на насыпи клен, и огромное пустынное поле с далекой горой и церковью и за ней бесконечные волнистые леса, туманные золотые иконостасы, синие ельники, и снова поле, и блестящая от дождя дорога, и по ней идет путник. Это он, Хлопьянов, идет по раскисшей дороге, мимо кособоких соломенных скирд, сырых деревень, покосившихся телеграфных столбов, и в тумане вьется над ним черная вещая птица, и в нем такая любовь, такая тоска и предчувствие своей огромной, загадочной, ему предстоящей жизни, такое доверие к этой осенней земле, покосившейся церкви, кружащей в тумане птице, что слезы любви катятся по его лицу, мешаются с холодным дождем.

Хлопьянов ехал в электричке, вспоминая исчезнувшее чудное время. Пытался обнаружить сквозь окно те старинные перелески, розовые тропки, серебристые опушки. Не находил. Казалось, дорога изменила свое направление. Стрелочник перевел рельсы, и колея отвернула от тех январских пышных сугробов, голубых весенних болот, пустынных печальных полей и мчалась теперь в ином пространстве и времени. И он, постаревший, проживший свою огромную жизнь, напрасно искал тот клен, ту церковь на круглой горе. Стрелочник умер, стрелка рассыпалась, старинная колея заросла, и навеки исчез, запечатан вход в ту другую жизнь, откуда он некогда вышел.

Среди пассажиров, сонных и отрешенных, выделялись трое юношей. Сидели поодаль, поглядывая в окно, подставляя мельканию света свежие умные лица. Они были чем-то похожи. Коротко, по-спортивному подстрижены, сдержанны в жестах, свежи, сильны. Ничем не напоминали расхожих длинноволосых парней, с серо-синими лицами, истасканными в попойках, разврате, в нездоровой нелюбимой работе. Все трое были в спортивных костюмах. На груди у них были маленькие черно-красные значки с неразличимой для Хлопьянова эмблемой.

Хлопьянов смотрел на них. Один, светловолосый, красивый, с нежным румянцем и маленькими белесыми усиками, особенно нравился Хлопьянову. Улыбался, блеснул серыми живыми глазами, что-то оживленно рассказывал товарищам. Те внимательно его слушали, улыбались. Своими усиками, свежестью, сдержанными манерами он был похож на курсанта военного училища. И это тоже нравилось в нем Хлопьянову.

Электричка вырвалась из предместий, сбросила тяжелые нагромождения железа и камня и мчалась среди рощ и поселков, задерживаясь ненадолго у полупустынных платформ.

Хлопьянов смотрел на юношу и угадывал в нем себя самого, исчезнувшего. Это он, молодой, верящий, мчится в электричке, ожидая для себя неповторимой доли, чуда и счастья. Сойдет на дощатой платформе, пройдет по коричневой тропке в близкий еловый лес, в потеках смолы, черных растопыренных шишках, в трескучих зеленоглазых стрекозах, и его не найдут, не настигнут будущие войны, напасти, гибель любимых и близких.

Проехали Истру, проплыл в золотых куполах Новый Иерусалим. Хлопьянов сошел на платформе, где была назначена встреча с Вождем. Из вагонов группами, по одному выходили молодые люди и тут же строились, в спортивных костюмах, в камуфляже, с одинаковыми черно-красно-золотыми значками, на которых был изображен незнакомый Хлопьянову знак, напоминавший розетку цветка.

– Становись! – гаркнул по-военному дюжий сутуловатый предводитель, в чьих вялых сонных движениях угадывалась могучая сила и ловкость. В ответ на его рык вытянулся, замер строй. Все лица, как цветы подсолнухов, устремились в одну сторону, туда, откуда приближался невысокий легкий человек в камуфляже, перетянутом портупеей, с золотистыми офицерскими усиками. Предводитель отряда, чеканя шаг, громко ударяя о землю, двинулся навстречу Вождю, рапортуя громогласно и преданно. Вождь принял рапорт, шагнул навстречу отряду, выбросил вперед легкую заостренную руку, негромко, но внятно воскликнул:

– Слава России!

И строй многоголосо и радостно, единым рыком и дыханием, выбрасывая вперед множество сильных рук, откликнулся:

– Слава России!

Хлопьянов был воодушевлен этим громогласным, славящим Родину кликом. И смущен взмахом рук, напоминающим приветствие фашистов.

Когда кончилось построение, и отряд нестройной цепочкой втянулся под тень елок, двинулся мелкошлем, Хлопьянов представился Вождю, ссылаясь на Клокотова.

– Хотел бы поприсутствовать на ваших тренировках. И если представится минута, переговорить с глазу на глаз.

– Присутствуйте, – спокойно согласился Вождь, рассматривая Хлопьянова спокойным немигающим взглядом. – Нам сейчас предстоит марш-бросок. Присоединяйтесь. А потом поговорим. – И отошел к своим молодым соратникам, которые поправляли кроссовки, поудобнее устраивали за спиной мешки с поклажей. Готовились к марш-броску.

Побежали нестройной плотной гурьбой. Огласили лес негромкими хлопками и шелестом. Зыркали глазами, перепрыгивали корявые корни елей, глубоко, сладко вдыхали смоляной воздух. Вождь бежал впереди легким свободным скоком. Тонкие мышцы играли на его ногах и руках. Остальные не обгоняли его, держались рядом и сзади. Хлопьянов, отвыкший от физических упражнений, бежал со всеми, пугаясь своей неподготовленности, негибкости и задеревенелости мышц, утомленности сердца. Его обогнал молодой парень, попутчик по электричке, радостно на бегу улыбнулся. Его красная, начинавшая темнеть майка замелькала среди тенистых елей.

Они миновали лес, бежали теперь краем поселка, мимо крашенных заборов, домов, огородов. Хлопьянов вдыхал неровными рваными глотками воздух, старался не отстать, чувствуя, как жестко, почти со стуком, работают его отвердевшие мышцы и сухожилия. Пытался их разгрузить, дать секундный отдых оттолкнувшейся стопе. Считал продолжительность вдоха и свистящего жаркого выдоха, количество прыжков и ударов сердца. Наблюдал, как медленно увеличивается разрыв между ним и остальной, убегавшей вперед ватагой, среди которой мелькала красная майка.

За поселком тянулось поле, какие-то скотные дворы, оцинкованные силосные башни. Хлопьянов потерял ритм, сбил дыхание, жарко и сипло дышал. Бежал мимо кирпичных скотных дворов, страдая от металлического блеска клепаных башен. Отряд исчез далеко впереди, скрылась красная майка, и он один, униженный немощью, часто семеня, огибая на дороге коровью лепешку.

Его утомленное тело не справлялось, дыхание захлебывалось, в горле бурлил и клокотал ком боли. Глаза заливал липкий пот. Воля, которую он использовал, как палку, колотила его по мышцам ног, по горячим ребрам, по дрожащему мокрому животу. Но воля иссякала, отступала перед страданием униженной и обессиленной плоти. Он бежал, заставляя двигаться бедра, локти, колени не волей, а мучительной суеверной мыслью, – не отстать, не потерять того юношу в красной майке, с которым соединила его вдруг незримая связь. Необъяснимая общая судьба, общий путь, общий бег по этой дороге, по этой земле, где суждены им скорые несчастья и

беды, и он, Хлопьянов, одинокий, бездетный, должен уберечь и спасти этого свежего светлого юношу.

«Помоги!.. Поддержи!..» – умолял он кого-то, кто летел над ним, ослепляя солнечным светом, кидал в лицо жаркие вихри ветра.

Он увидел, как впереди на дороге возникла красная майка. Приближалась к нему. Сквозь липкий пот и размыто-туманный жар он увидел юношу. Не удивился его возвращению. Тот должен был непременно вернуться, услышать его мольбу.

– Командир меня послал, – сказал парень, подбегая и занимая место рядом с бегущим Хлопьяновым. – Сказал, чтобы я оставался с вами. Проводил вас по маршруту.

Он не задыхался, ровно в беге выговаривал слова. Хлопьянов поймал на себе его сочувствующий взгляд.

– Как зовут?... – спросил Хлопьянов.

– Николай.

– Спасибо...

Они бежали рядом, несколько раз коснулись в беге руками. Хлопьянов, в надрыве, с разрывающимся сердцем, с тупыми ударами изнемогающих мышц. И Николай, легкий, почти невесомый. И по мере того, как они бежали, Хлопьянов чувствовал облегчение, словно его дыхание, удары сердца, неверные толчки о дорогу складывались с молодым и ровным дыханием юноши, с его упругим ритмичным скоком, ровными ударами сильного здорового сердца. Ему делалось легче, мышцы становились пластичными, гибкими, дышалось глубже и реже, и он обретал долгожданный устойчивый ритм бега, – удар ноги о дорогу, вдох свежего сладкого воздуха, зеленый блеск солнца на ветке придорожного дуба.

Они бежали краем ржаного поля. Хлопьянов вдыхал чудные запахи цветущих колосьев, нежный голубоватый свет молодой ржи, в котором трепетали белые бабочки. Был благодарен юноше за это напоенное солнцем поле, голубой василек, стеклянный проблеск стрекозки.

Они вбежали в лес, в его зеленый сумрак. Горячие плечи чувствовали влажный тяжелый воздух, стекавший с елей. Ноздри впитывали чистый, как спирт, дух смолы. Глаза успевали разглядеть золотые, сахарные потеки на стволах, перламутровую паутину, бесшумный проблеск птичьих крыльев. Хлопьянов был благодарен юноше за этот лес, за лесную дорогу, в которой стояла черная, отражавшая небо вода, и его сильная тугая стопа выбивала из нее яркие брызги.

Они выбежали к ручью и с размаху врезались в его холод, хруст, поднимая до колен, до груди, до пылающих щек тяжелые блестящие ворохи. Выбежали из воды, звериным движением плеч и загривков сбрасывая с себя брызги. И Хлопьянов, выбегая на травянистый берег ручья, пережил мгновение острой благодарности и любви к этому юноше, с которым соединила его судьба среди солнечных вод и лесов.

Отряд собрался в старом песчаном карьере с желтыми осыпями, поломанными экскаваторами, рваными автомобильными покрывками. После бега, разгоряченные, возбужденные, парни выстроились в шеренгу, по которой пробежали едва заметные волны нетерпения. Хлопьянов со своим провожатым встал в строй. Видел вокруг молодые, с пятнами румянца, лица. Был принят, встроен в молодое энергичное братство.

Вождь стоял в стороне, отдыхал после бега, и Хлопьянов, встав в строй, невольно подчинил себя воле невысокого, светлосого человека.

– Приготовиться к проведению стрельбы! – командовал сутулый, медвежьего сложения предводитель. – Развесить мишени!.. Выставить посты!.. Группа учета, ко мне!..

Его команды выполнялись быстро, ладно. Четверо кинулись в разные стороны, карабкались по песчаному склону, занимали позиции по краям карьера. Двое других разворачивали рулоны с бумажными мишенями, бежали к песчаному склону, закрепляли мишени на кабине поломанного экскаватора. Хлопьянов издали разглядел, – кабина была в насечках и пуле-

вых отверстиях, подобные стрельбы проводились здесь не впервые. Командир расшнуровывал дорожный мешок, извлекал из него белый матерчатый сверток. Разворачивал ткань, и на белой материи, тусклые, вороненные, лежали два пистолета «ТТ». Строй жадно, нетерпеливо смотрел на оружие, следил за бережными точными движениями командира.

– Наше главное оружие, – обратился он к стоящим, держа в каждом кулаке по пистолету, – это любовь к нации, преданность Вождю, готовность умереть за Россию! Но обладая этим непобедимым оружием, каждый соратник должен уметь стрелять!.. Право первого выстрела – нашему Вождю!

Вождь вышел на рубеж стрельбы. Принял из рук командира пистолет. Осмотрел его. Вытряхнул и снова вогнал ладонью обойму. Стоял, невысокий, ладный, на виду у соратников, которые с верой и тревогой смотрели, как тускло блестит в его руках пистолет.

Он поднял медленно руку, вытягивая ее горизонтально, целясь в мишень. Опять опустил. Помедлил мгновение. Рука его пошла вверх. Хлопьянов чувствовал, как в невидимом тончайшем луче совмещаются его зрачок, мушка пистолета и черное яблочко на листе мишени. Прозвучали один за другим три выстрела. Подскакивал и вновь возвращался на линию прицеливания пистолет. Отстрелявшись, Вождь передал оружие командиру и легким неторопливым бегом направился к мишени. Снял ее и так же легко, развевая лист бумаги, вернулся на рубеж стрельбы. Командир принял мишень, посмотрел на солнце сквозь три пробитых, плотно обступивших яблочко отверстия. Удовлетворенно кивнул, записывая результат. Вождь отошел в сторону, плотный, светловолосый, и множество молодых глаз смотрело на него с обожанием.

– С левого фланга – по одному! – приказал Командир. – По врагам России огонь!.. Юноши поочередно стреляли, оглашали карьер негромким треском. Возвращались в строй, возбужденные, порозовевшие. Хлопьянов смотрел на солнечную желтую осыпь, на исковерканный остов экскаватора. Словно пробежала в воздухе стеклянная рябь, и он нырнул в эту колеблемую воздушную толщу, выныривая в ином пространстве и времени, – на заставе в ущелье Саланг. Рыжие сухие откосы. Обгорелый танк, преградивший русло ручья. Пенится, бугрится вода, переливаясь сквозь разбитую пушку. Ротный, голый по пояс, одурев от жары и скуки, целит из снайперской винтовки в птичек, перелетающих в саду. Разбивает вдребезги их золотые и изумрудные комочки. Блестит от пота загривок ротного. Тонкий солнечный лучик бежит по стволу винтовки. Выстрел, и с ветки яблони исчезает разорванная райская птичка. К вечеру по трассе пошли колонны с горючим, и ротный, защищая колонну, попал под огонь пулеметов, под огромный огненный взрыв. На брезенте в саду лежали обгорелые кости, а на ветках распевали райские птички.

– По врагам России огонь! – вдохновляя стрелков, выкрикивал командир.

Николай, когда подошла его очередь, принял пистолет, вытянул длинную руку, выцеливал на откосе мишень, готовый стрелять по врагам России. Этот чистый юноша, сжимавший старомодный «ТТ», вызвал у Хлопьянова острое чувство тревоги. Со всех сторон, невидимые, были направлены на него враждебные стволы и калибры, пикировали самолеты, надвигались тяжелые танки, а он, как курсант сорок первого года, отбивался от них из «ТТ». В предчувствии огромной беды Хлопьянов молился за него бессловесной молитвой, слыша негромкие короткие выстрелы.

Когда очередь дошла до Хлопьянова, командир раздумывал, предложить ли ему пистолет.

Хлопьянов вышел из строя, принял теплое, нагретое выстрелами и множеством горячих ладоней оружие. Спокойно прицелился и, сопрягая с мишенью ненавистные образы мучителей Родины, трижды разрядил пистолет, зная, что попал, что пули его разорвали черный бумажный кружочек.

Отряд завершил стрельбу и цепью, не растягиваясь, двинулся через леса тропами и проселками. Достиг большого села с остатками разрушенной церкви. За селом возвышался воинский памятник, – бетонная скульптура скорбящей матери, постамент с перечнем погибших, железная ограда и холм. Все запущено, в ржавых жестяных венках, линялых бумажных цветках. Одна из бесчисленных, рассеянных в Подмоскovie могил.

Отряд остановился у могилы. Командир отдавал распоряжения. Из мешков и сумок появились саперные лопатки, тесаки, кисти и банки с краской. Все задвигались, заработали, словно заранее, еще в Москве, было уговорено, что кому делать.

Вырыли яму, в нее снесли и закопали весь проволочный и бумажный мусор. Прорезали, про-ровняли тропу, ведущую от села к памятнику. Посыпали ее свежим желтым песком. На соседней луговине, орудуя лопатками, накромали ломти дерна. Несли на руках к памятнику вместе с полевыми цветами. Бережно выкладывали на холме вокруг постамента. Раскупорили банки с серебряной и бронзовой краской. Кистями осторожно, экономя краску, подновили ограду, постамент. Женщина казалась золотой в свете солнца, а железная сварная изгородь мерцала серебром. Внутри изгороди качались колокольчики, ромашки, розовый клевер, лиловый горошек. Четко проступили имена павших воинов, начертанные на бетонной плите.

Хлопьянов работал со всеми, сгребал сор, переносил ломти дерна, чувствуя грудью сырой холод земли. Касался губами розовых прозрачных цветов. Его трогала и волновала эта работа. Он вспоминал свои юношеские поездки под Волоколамск, рассказы деревенских, тогда еще нестарых вдов, о том, как навалилось нашествие, как двигались по дорогам огромные машины с крестами, как вставали на постой чужие солдаты, бежали по полю с винтовками наперевес русские пехотинцы, вышибали из села немцев. А потом до вечера женщины ходили по полю, подбирали убитых, сносили на край села, где наутро солдаты рыли могилу, стреляли в воздух. А теперь на старой братской могиле сильные парни высаживают полевые цветы, и он, Хлопьянов, несет в руках дерновину с пучком колокольчиков.

Он помогал Николаю красить изгородь. Их руки, перепачканные серебряной краской, касались в работе.

– Может, где-то здесь и мой дед лежит, – сказал Николай. – Только место не знаю. Убрали могилу.

Утомленные, загорелые, выстроились у изгороди, над которой сияла золотая женщина. Вождь, который до этого работал вместе со всеми, копал, носил дерн, вышел теперь перед строем. Командир передал ему длинный матерчатый сверток. Вождь стал разматывать, сбрасывать белые бинты, и на руках у него сверкнул длинный солнечный меч. Хлопьянов удивился, увидев отточенную сталь, ослепительно сияющую на ладонях Вождя.

– Обращаюсь к вам, соратники, у могилы наших отцов и дедов. – Вождь говорил негромко, но слова его были слышны в летнем солнечном воздухе. – Вы встали в наши ряды, чтобы защищать Родину. Россия – самая красивая, добрая и святая земля. Русские – самый светлый и чистый народ. Грязные инородцы хитростью захватили Россию и распяли ее. Я привел вас сюда, чтобы здесь, на могиле предков, вы поклялись в верности Вождю и России. Этот меч найден на лугу под Тверью и принадлежал Михаилу Тверскому, павшему от рук ордынцев. Многие из нас падут в борьбе и не доживут до Победы. Но мы поклянемся, что во имя России нам не жалко и жизни.

Он держал на вытянутых руках меч. Соратники выходили по одному из строя, приближались к нему. Наклонялись и целовали солнечное лезвие. Отступали на шаг, выбрасывали руку вперед, восклицали: «Слава России!» Возвращались в строй, взволнованные, просветленные, словно их наполняла энергия, переливавшаяся из солнечного меча.

Когда очередь дошла до Хлопьянова, он несколько секунд колебался, идти не идти. Вышел из строя. Приблизился к Вождю. Увидел близко лежащий на его ладонях меч, щербатое, изъеденное временем лезвие, натертое до блеска. Наклонился. Поцеловал теплую сталь,

разглядев на ладони Вождя капельку серебряной краски. Отступил на шаг. Вытянув руку, произнес:

– Слава России!

Золотая женщина за могильной оградой смотрела на него не мигая.

На опушке леса, под широкими дубами, отдыхали, жгли костры, кидали в огонь тяжелые сучья. Пекли картошку, погребая ее под ворохами красных углей, под белым раскаленным пеплом. На длинным шампурах обжаривали сочные комья мяса. Бросали щепотки чая в кипящие через край котелки. Трапеза была вкусной, веселой, на краю просторного леса, где паслось черно-белое стадо, а в дубах вдруг вспыхивало высокое солнце, рассыпало косые, полные дыма лучи.

Хлопьянов видел, как Вождь пил из кружки, обжигался, откидывался спиной к темному сморщенному стволу. Сидел, закрыв глаза, опустив утомленные руки, среди бегающих розоватых теней. Хлопьянов решил, что теперь, когда завершились труды и отряд отдыхает, он может подойти к Вождю, поведать ему о своих опасениях.

Приблизился, сел на траву. Вождь приоткрыл глаза, слабо кивнул, позволяя остаться, приглашая говорить.

– Я искал с вами встречи. Рад, что увидел отряд, познакомился с вашей программой. Молодые люди, здоровые, светлые... – Хлопьянов опирался ладонью о корень дуба, чувствуя теплую, шершавую поверхность, проступавшую сквозь разломы и трещины прохладную сердцевину, по которой двигались и давили вверх земляные соки, распускались в высоте могучей волнообразной листвой. – У них у всех верящие глаза, а это по нынешним временам редкость!

– Молодые соратники – это русские люди, лучшие из лучших. Они хотят служить Родине, поэтому пришли ко мне. Сначала были сотни, теперь тысячи. Скоро будут миллионы. Тогда настанет эра России. – Вождь говорил спокойно, без пафоса, с будничным лицом, по которому пробегали розоватые тени. Его спина прижималась к древесному стволу. Слушая его, Хлопьянов чувствовал, что их связывают не слова, а невидимые, упрятанные в древесную толщу соки могучего дерева, силы земли и неба, соединенные дубом в зеленых шелестах огромной волнистой кроны. Живые и смертные, они заключены в круговорот этих вечных сил, в мельканье розоватых теней, лучистые вспышки солнца.

– Всю эту неделю я встречался с политиками. С коммунистами, монархистами. Там митинги, крестные ходы, а у вас стрельбы. С вашими людьми можно действовать. – Хлопьянов смотрел на свою руку и видел, как по пальцу ползет красная божья коровка. Карабкается, расправляет прозрачные крылья, силится взлететь и не может. Рука чувствовала щекочущие прикосновения крохотных лапок. Было страшно ее спугнуть, повредить.

– Оппозиция, с которой вы встречались, обречена. Коммунисты и монархисты – из прошлого. Нацию объединяют живые связи с почвой, с небом, братство по крови. Наша организация, – это духовный Орден, исповедующий религию России. С этой религией мы победим.

Божья коровка взлетела и тут же упала на руку Вождя. Поползла по его тонкому, испачканному золой пальцу. Словно перенесла от Хлопьянова безмолвную весть, сообщила ее Вождю. Они вслух разговаривали о борьбе, о политике, но безмолвно обменивались тайным знанием, общались с помощью божьей коровки.

– Что изображается на вашей эмблеме? – спросил Хлопьянов. – Я так и не сумел разглядеть.

– Это Звезда Богородицы. Звезда, которая указывала путь волхвам, привела их к Спасителю. Эта Богородичная Звезда ведет Россию к спасению. Наши враги пытаются очернить Звезду, очернить наши помыслы. Но они будут разбиты. Их разобьет Звезда Богородицы.

Далеко за опушкой волновалась синяя даль, голубели дубравы, холмы. Дуб шелестел тяжелой слоистой листвой, и в этой листве промелькнула, оглядела их сверху бесшумная

птица. Ветер растворил зеленую крону, и в скважину брызнуло солнце. Погасло, а в глазах под закрытыми веками остались сиреневые теплые пятна, – изображение птицы, огненный отпечаток дубовой ветки.

Хлопьянов испытывал слабое головокружение. Ему казалось, в природе, среди множества происходящих событий, – перемещения теней, полета бабочки, движения волнистой листвы, – приближается какое-то мимолетное, почти незаметное для глаз событие. То ли отблеск луча на листе, то ли падение в траву сухой ветки, или удар солнечного прозрачного воздуха. И в это мгновение в пространстве и времени откроется крохотная неприметная скважина, куда он, Хлопьянов, и сидящий рядом с ним человек могут ускользнуть и исчезнуть. Вырваться из грозной реальности, где подстерегают их опасности, ненависть, борьба и возможная смерть. Уйти в иное измерение жизни, откуда их увели и выманили. Это оставленная ими жизнь всегда была рядом, близко, поджидала, и только не было у них подходящей секунды, этих голубых перелесков, белых облаков, проблеска птичьих крыльев. Но сейчас нужно ждать и следить, вот-вот откроется мгновенная скважина, и они нырнут в нее, как в крохотный чистый омут.

– Я вас искал, хотел сообщить. Я случайно попал в их логово. Они готовят ловушку. Операция «Крематорий». Всех соберут и сожгут. Вы должны избежать западни, – Хлопьянов говорил, но чувствовал, что недавнее нетерпение, желание сообщить и поведать, померкло. В тени недалеко от его руки розовел малый цветок гераньки. К этому цветку, пока он говорил, подбиралось пятно горячего солнца. Хлопьянов ждал, когда пятно коснется цветка, и в момент этой вспышки откроется вход в другое пространство и время, и они с Вождем ускользнут.

– Я не боюсь их планов. Они проиграют. Пусть сделают первый шаг, а мы второй. Русский народ получит русскую власть и русского лидера. А те проиграют.

Вождь тоже смотрел на цветок. Голос его был негромок, слова лишены страсти. Словно и он ожидал совпадения цветка и солнца. Слова о борьбе и победе предназначались для жизни, которую они через мгновение покинут. Оба, обнявшись, пролетят сквозь цветок и пятно горячего света в другую жизнь, где не будет врагов и вождей, и потребуются иные слова и чувства, связанные с красотой и любовью.

– Они очень сильны. У них есть офицеры, разведка, деньги. Они владеют особым оружием, особой истребляющей силой. Это новый тип власти. Я испытал на себе. – Хлопьянов смотрел, как огненно, трепетно движется по траве зрачок солнца. Малое озерцо света поджигало на своем пути травинки, веточки, сухое крыло стрекозы. Подбиралось к цветку. Цветок ждал прикосновения света, розовел в тени, готовый к преобразению и чуду.

– Мы не боимся. Победа будет за нами. Есть пророчество старца, иеромонаха отца Филателфа. Я был у него, и он мне сказал: «Вы – жнецы! Вам – собирать урожай!» Русские люди готовы к жатве. Все, кого вы здесь видите, это жнецы!

Солнце приближалось к цветку, поглощало малое, оставшееся между ними пространство. Хлопьянов замер в ожидании чуда. Ощущал, как становится легче его плоть, глубже и свободней дыхание, готовятся исчезнуть, превратиться в воздух и свет. Оставалось мгновение. Но внезапно над дубом встало большое облако и закрыло солнце. Глубокая прохладная тень погасила горящие травы, стрекозиное крылышко, мерцавшую капельку сока. Хлопьянов, потрясенный, смотрел на цветок, понимая, что облако послано по небу чьей-то властной непреклонной рукой, отнимающей у него чудо, не пускающей в другую жизнь.

Когда через минуту облако медленно отошло, и солнце снова засветило сквозь дуб, – цветок гераньки оставался в тени. Зрачок раскаленного света миновал его. Их встреча не состоялась. Чудо не случилось. Малый прогал в иные миры и пространства, как створки крохотной ракушки, не раскрылся. Хлопьянов сидел на земле, растерянный и печальный. Смотрел, как плывет над полем белое облако, похожее на голову льва.

– Я офицер разведки. У меня есть опыт. Я могу быть полезен, – сказал Хлопьянов.

– Хорошо. Мой начальник штаба познакомится с вами поближе. Взаимодействуйте с нами. К ним приближался упругим шагом сутулый командир. Вождь поднялся ему навстречу, отошел с ним в сторону, о чем-то совещался.

А Хлопьянов остался сидеть у корня дуба, не понимая, что пережил он недавно. Что померещилось ему в солнечном зайчике, в розетке цветка.

Отряд отдохнул и сделал еще один переход. Избегая населенных пунктов, скрытно преодолевал автомобильные трассы, закладывал в безлюдных местах тайники, вскрывал тайники, оставленные предшественниками. К вечеру в сумерках остановились в сухом сосняке. На круглую поляну под первыми водянистыми звездами стали сносить валежник, обломанные ветки и сучья. Выкладывали из них косматую груду. Хлопьянов, наслаждаясь сумерками, смолистыми ароматами, влажными чистыми звездами, работал со всеми. Кидал в грудку звонкие суки, волочил шуршащую обломанную вершину, видел вокруг в сосняке мелькающие тени, слышал молодые голоса, смех, команды.

Запалили костер, уселись вокруг, напоминая лесное племя, собравшееся на поляне. Огонь нырнул в глубь решетчатой темной груды, слабо трепетал, озаряя изнутри красноватые сучья. А потом вдруг узко, жарко прыгнул вверх, увлекая за собой летучие космы, выбрасывая высоко огненные завитки и сыпучие ворохи. Лица вокруг озарились, радостно блеснули глаза. И вслед за огнем, сначала слабо, потом все стройней, громогласней, зазвучала песня.

Мы верим в то, что скоро день наступит,
Когда сожмется яростный кулак,
И черный мрак перед Зарей отступит,
И разовьется гордо русский стяг.

Сидели на земле лицом к огню. Краснели молодые лица, чернели поющие рты, блеснули глаза. Огонь бушевал, швырял протуберанцы, взрывался изнутри белыми молниями, и песня сама, как костер, расширялась, накалялась. Вершины сосен мотались, раздвинутые красным светом, будто-то кто-то огромный, могучий, ходил в лесу, шевелил вершины деревьев.

Все четче шаг, все тверже дух бойцовский,
Все громче голос нашего Вождя.
Не посрамим традиции отцовской,
На битву славную за Русь идя.

Когда началась песня, Хлопьянов почти испугался – нестройных голосов, непроверенных нарочитых слов. Но с каждым выдохом, с каждым огненным взрывом песня крепла, ширилась, наполнялась мощью и свежестью. Голоса нашли друг друга, сложились в огненное рокошующее единство. Хлопьянов вдруг ощутил крепкий радостный толчок в грудь. Сердце стало увеличиваться, расширяться. И он, не зная слов, одним гудящим звуком, напряжением плеч, зоркостью глаз вторил песне. Был с ними, поющими, в их марше, потоке, полете.

Своих врагов мы раньше побеждали.
И победим, каким бы ни был бой.
Так встанем все, как пращур вставали,
Плечом к плечу в один единый строй.

Не было одиночества, уныния, иссякания сил, а была воля, крепость, непреклонная вера. Его душа, еще недавно немощная, горяющая, теперь утвердилась, восстала, сочеталась с дру-

гими верящими душами. Их огненная вера была подстать горящей смоле, древним силам леса, высоким звездам, куда улетали завитки и протуберанцы огня. Все они вышли в поход, идут по полям и дубравам. И родные глаза, бессчетное множество глаз, смотрит на них из древесных вершин, из придорожных камней, ржанных и пшеничных колосьев.

Сомкните строй, в единстве наша сила,
Стальным единством нация сильна.
Мы отстоим Великую Россию
В последней битве сил Добра и Зла.

И были не страшны грядущие страдания, ибо они за любимую землю. И не страшна смерть, ибо она за Россию. И не будет смерти, ибо их братство скреплено божественным замыслом на земле и на небе. И в этом братстве – те, кто ныне жив, и те, кто пал, но вовеки пребывает в этом радостном пламени, в грозном и чудном хоре. Хлопьянов видел удаленное, по ту сторону костра, лицо Николая. Юноша казался почти прозрачным. Окруженный сиянием, был не из плоти, а из светоносных материй, был любим, храним. Хлопьянов сквозь пламя молился о нем.

Пробил наш час, – вперед, вперед, славяне!
Уже встает победная заря,
И ветер гордо развевает знамя,
И факелы в руках бойцов горят!

Хлопьянов пел, угадывая слова, выхватывал их из хора, из летучего огня. Вдыхал в себя звук, смысл, огненный дух. Его душа росла, возвышалась вместе с гудящим смоляным вихрем, одевалась в красные россыпи искр. Трепетала на вершинах сосен. И вдруг, подхваченная чьей-то могучей дланью, вознеслась над поляной, выше красных огненных сосен, над ночными лесами, дорогами, туманными селами. Паренье и счастье длилось мгновение, и он снова сидел на поляне у костра, среди поющих людей.

Нам не страшны ни пули, ни снаряды, Мы верим в то, что сможем победить. Ведь в мире должен быть один порядок, И он по праву русским должен быть.

Они возвращались поздней ночью к железнодорожной платформе, к которой сквозь черные леса приближался белый пунктир электрички. Хлопьянов, усталый, счастливый, все старался понять, что случилось с ним на лесной поляне, какая сила показала ему землю из неба.

Глава двенадцатая

Хлопьянов двигался по Москве, и его не покидало ощущение, что следом за ним тянется незаметная паутина. Прицепилась за пиджак, прилипла к ворсинке и не отстает, не отпускает, разматывается, следует за ним по пятам, соединенная с невидимым клубочком. Эта паутина не имела веса и натяжения, но он чувствовал себя на тончайшем поводке, который оставался в чьих-то руках. И где бы он ни был, его местонахождение было известно. Он увлекал за собой паутинку, вносил ее в дома, в метро, в транспорт, в людские собрания. Он был на привязи, под наблюдением, и в действиях его, помимо собственной воли, присутствовала чья-то другая, неведомая.

Иногда ему казалось, что он различает эту паутину, реющую за плечами. Она была не просто нитью, но тончайшей трубкой, полрой внутри, по которой струился луч света, попадавший в чей-то удаленный зрачок. Это был световод, по которому зрительная информация о нем попадала невидимому наблюдателю. Его тайные встречи с Генсеком, с Красным Генералом, с Вождем были засвечены, засняты на микроскопическую фотопленку, легли на стол к невидимому соглядатаю.

Он пытался избавиться от этой паутины. Начиная отряхиваться, сбрасывать с пиджака клейкую нить. Рассекал ладонями воздух вокруг своих плеч и бедер, навлекая изумленные взгляды прохожих. Резко убыстрял шаг, почти бежал, желая натянуть и оборвать паутину. Но она тянулась, реяла, вспыхивала едва различимым лучиком. И он оставался в поле чужого зрения, под чьим-то неусыпным бдением.

Желая разрубить и рассечь неотвязный поводок, он кидался через проезжую часть на красный свет, рискуя попасть под колеса. Слышал, как шумит и ревет воздух у него за спиной, рассекаемый автомобилями. Надеялся, что стальные радиаторы, оскаленные хромированные бамперы разорвут паутину. Выносился на тротуар, на другую сторону проспекта и чувствовал, – паутина вьется, колышется за спиной.

Он втискивался в толпу, переходившую улицу на зеленый свет. Мешался, путался под ногами, попадал под сердитые оклики и толчки, надеясь, что чужие локти и ноги порвут паутину, она прилепится к другому пиджаку, кто-то другой станет таскать ее по магазинам, троллейбусам, офисам, отсылая соглядатаю информацию о прилавках, о транспортной давке, о трескучих телефонных звонках. Он выбредал вместе с толпой на противоположный тротуар, оглядывался, – паутинка струилась, сияла.

Он опускался в метро, протаскивал волосок света по эскалатору, тянул его под землю. Резко врывался в вагон, надеясь, что створки двери перекусят, перерубят световод, и он, освобожденный от опеки, умчится в мерцающем серебристом вагоне. В черном туннеле мелькали лампы, блестел металлический поручень, и в туннеле, в свете и громе, неслась за ним паутинка, тонкое волокно световода, нацеливая на него чей-то зоркий немигающий глаз.

Он пытался посылать по световоду ложную информацию, запутывал, сбивал соглядатая.

Забирался в полутемный двор, где стояли зловонные ящики с отбросами и мочился влохмаченный, в клочковатом рубище бомж, – пусть наблюдатель увидит это заросшее человекоподобное существо.

Выходил на площадь и стоял перед высокой пурпурно-белой рекламой «Кока-колы», – пусть наблюдатель глотает сквозь свою световую трубочку кроваво-красный напиток. Задерживался перед лакированной, перламутровой иномаркой, в которой сидела красавица в бриллиантах и рядом с ней дышал холеный языкастый дог, – пусть увидит этих «новых русских», собаку и женщину. И снова уходил в замусоренные дворы, блуждал среди замызганных стен, показывая соглядатаю ржавые пятна нечистот, похабные надписи в подъездах и подворотнях.

Он собирался нанести визит к загадочному человеку, числившемуся в тайных советниках у множества государственников и политиков исчезнувшего СССР, чья репутация аналитика и темного пророка волновала умы оппозиции. Чьи прогнозы и сценарии возможных катастроф появлялись в оппозиционных газетах. Советник, – так мысленно нарек его Хлопьянов, – назначил свидание в своем аналитическом центре. К нему, пытаясь оторваться от наблюдателей, разорвать капиллярный волосок световода, направлялся Хлопьянов.

От входа охрана провела его сквозь коридоры и кабинеты, где в стерильной белизне мерцали компьютеры, операторы в белых одеяниях, похожие на хирургов, снимали с приборов свитки осциллограмм и загадочных графиков. В полуоткрытые двери были видны столы, за которыми в слоистом табачном дыму сидели возбужденные люди, витийствовали, набрасывались разом на невидимое, витавшее в дыму существо, пытаясь изловить его среди голубоватых дымных завихрений.

В маленьком сумрачном зале стоял белый одинокий рояль, и женщина с рыжими распущенными волосами играла странную музыку. Один из кабинетов был увешан картами звездного неба, человек с голым черепом и бескровным лицом, в черных долгополых одеждах, похожий на средневекового звездочета, водил указкой по созвездиям, что-то вкрадчиво пояснял безмолвным мужчине и женщине.

Советник принял его в кабинете необычной конфигурации, со множеством углов, углублений и ниш. В каждой нише, освещенный невидимым источником света, находился особый предмет или символ. Деревянная африканская маска с разноцветными инкрустациями. Обломок русской иконы с белобородым старцем. Медный сидящий Будда, воздевший заостренный палец. Персидская миниатюра со сценами царской охоты.

Хозяин кабинета, лысоватый, живой и любезный, сердечно пожал Хлопьянову руку. Усадил в удобное кресло. Оглядывал острыми веселыми глазами. Кивал, улыбался, слушая первые слова приветствий и объяснений. Казалось, приход посетителя доставлял ему наслаждение, он только и ждал Хлопьянова.

Их разделял широкий стол, на котором стояли компьютер, группа телефонов, вазочка с живой розой и хрустальная призма, в которой была застеклена короткая сочная радуга. Эта радуга восхитила Хлопьянова своими свежими цветами, напоминала ту, давнишнюю, в их домашнем старинном зеркале. Он не мог от нее оторваться. Радуга, как живая, была свидетельницей их разговора.

– Совершенно случайно я попал в их секретное логово, в их закрытый центр. – Хлопьянов торопился поведать Советнику о своих злоключениях. – Понимаете, это не просто собрание злопыхателей, а союз колдунов! Это вид оружия, направленная концентрированная ненависть, которая убивает не людей, а общество в целом! Это может показаться странным, но я там был и увидел!

Он боялся, что ему не поверят, примут за безумца. Но советник ласково смотрел на него. Его тонкий, с розовым ногтем палец прикасался ко лбу, к переносице, к голому блестящему темени, словно нажимал на невидимые светочувствительные зоны, подключая их к мыслительной работе.

– Отчего же, я верю!.. Я знаю!..

– Они замышляют преступление!.. Не могу сказать где и когда!.. Они хотят уничтожить оппозицию, всю разом!.. А вместе с ней и парламент, и депутатов, и конституцию!.. Они разработали план операции под кодовым названием «Крематорий»!.. Значит, будет огонь, сожжение!.. Я обращался ко многим лидерам, не находил понимания... Теперь у вас!..

Советник осторожно ощупывал пальцами свой череп, едва заметные выступы, швы, сочленения. Глаза его были ласковы и внимательны. Радуга в стеклянной призме слабо трепетала, словно в прозрачную толщу залетело павлинье перо. Движение пальцев, ласковый взгляд вишневых глаз, отсветы на буграх и овалах черепа, пульсирующая застекленная радуга дей-

ствовали на Хлопьянова гипнотически. Пространство между ним и Советником сжималось и расширялось. Советник то удалялся от него на длину светового луча, говорил с ним из бесконечности, то приближался, сливался с ним, и голос Советника был голосом самого Хлопьянова.

– Я знаю их всех поименно, – сказал Советник. – Вы правы, это оружие! Это новый тип оружия, способного разрушать не пространство, а время. Словно лазером, объект вырезается из времени. Явление вычленяется из времени, как ампутированный орган, и засыхает. Советский Союз был выделен этим оружием из времени. Были отсечены сосуды, соединяющие прошлое с будущим, живых и мертвых, бытие и идеалы. Страна засохла, как выкопанное и оставленное на жаре дерево... Я вас вполне понимаю!..

Хлопьянову было странно хорошо. Его понимали. С ним соглашались. Были готовы освободить от бремени одинокого неразделенного знания, разгрузить утомленную волю. Ласковый темноглазый человек принял его как желанного гостя, долгожданного утомленного путника. Впустил в свой чертог, поместил в мягко озаренное пространство среди загадочных символов. Поставил перед ним стеклянную призму. Направил в зрачки пучок разноцветных лучей. Радуга была из тех же волшебных соцветий, что и в бабушкином зеркале, и ее хотелось коснуться губами.

– Наша оппозиция, ее лидеры и вожди живут в историческом времени. Оперировать старомодными категориями исторического процесса. Но противник действует в метаистории, использует метаисторические категории. Он управляет историей, задает ей темп. То замедляет ее, почти останавливает, или бешено убыстряет, каждый раз лишая оппозицию исторической среды. Противник обладает новой интеллектуальной культурой, способной управлять историческим развитием. Раньше это называлось колдовством, теперь – «организационным оружием». Перед этой новейшей культурой оказался беспомощным Советский Союз, а нынешняя оппозиция и подавно. Она обречена, если не начнет немедленно учиться. Мой Центр – это школа новейших политических технологий, куда я приглашаю всю патриотическую элиту. Я могу оснастить ее могучими средствами, но она, увы, не приходит!

Советник ощупывал остроконечными пальцами желтоватый череп, словно трогал клавиши компьютера. Сквозь костяную оболочку прикасался к пульсирующим зонам, горячим сосудам, блокам памяти. Хлопьянов слышал его голос, усваивал внешний смысл его слов, но внимание и воля его были устремлены на радугу, плавающую, как драгоценная рыба, в прозрачном стекле. В призму, в просветы зеленых и красных плавников, стремилась его душа. Он пролетал сквозь спектр, между синим и золотым лучом, и оказывался по другую сторону радуги, в счастливом остановившемся мире всеведения, куда помещал его кудесник. Немигающим остекленным взглядом смотрел, как падают в хрустальной призме отвесные и косые лучи, преломляются в гранях, отражаются под разными углами, пронизывают его прозрачное недвижимое тело, включают его в восхитительную лучезарную геометрию мира.

– Представьте себе, в солнечном просторном кабинете Дома Советов Хасбулатов с дымящей сталинской трубкой хочет срезать Ельцина, натравливает на него неистовых депутатов, угрюмых директоров, разочарованных генералов. В это же время опухший, с сизым лицом Ельцин хочет срезать парламент, натравливает на него алчных банкиров, уличных торговцев и лавочников, истеричных поэтов и музыкантов. Обе стороны борются за сиюминутную власть, действуют в сиюминутной истории. Но при этом кто-то, нам неизвестный, в каком-нибудь лесном особняке в округе Колумбия, сталкивая Хасбулатова с Ельциным, решает совсем иную задачу. Например, проблему войны православия и ислама, или соперничества на весь следующий век между Россией и Турцией. Это уже метаистория, игра в историю. Но при этом, вполне может быть, где-нибудь на склонах Гималаев, между голубыми снегами и цветущими лугами, в скромной хижине отшельника кто-то использует грядущие конфликты между тюрками и славянами для смещения духовных центров земли, создавая резервную цивилизацию на слу-

чай потепления климата, когда Калифорния превратится в пустыню, Сибирь станет житницей мира, а Северное море зальет Европу до Парижа. И это уже метаигра, метаметаистория!

Хлопьянов внимал Советнику, и слова его превращались в спектральные линии, в тончайшие оттенки цветов, среди которых бушевали радостные золотые стихии, обжигающие алые вихри, таинственные голубые туманности, и каждое слово имело свой цвет и свой луч, убегавший в свою бесконечность. Вселенная была перекрестьем множества линий и проблесков, спиралей, осей и эллипсов, и он, Хлопьянов, был в центре этой Вселенной, управлял ее музыкой, властвовал среди хрустальных сфер и гармоний.

Им помешал стук в дверь. В комнату, где они находились, вошел человек, осторожно и неуверенно. Близоруко щурился, улыбался выцветшими стариковскими губами. На его худых плечах висел поношенный пиджак, ноги в летних туфлях пришаркивали. Казалось, он сомневался, будет ли принят, приглашен в комнату, или по мановению хозяйской руки, по сердитому движению бровей он повернется и исчезнет.

– Как я вам рад, проходите! – Советник выскочил из-за стола, сердечно приветствовал посетителя. Провел в кабинет и представил ему Хлопьянова. И пожимая прохладную стариковскую руку, усыпанную рыжеватыми крапинками, Хлопьянов вдруг узнал в старичке еще недавно всемогущего шефа спецслужб, хозяина многоэтажной громады на Лубянке, мимо которой изливался чешуйчатый, глянцеви́тый автомобильный поток, окружая бронзовый монумент, – символ власти, беспощадного и преданного служения державе и партии. Всемогущий хозяин Лубянки был сметен, опрокинут, брошен в тюрьму после трехдневной жестокой схватки, когда в Москве бесновались толпы, лязгали гусеницы, падали и раскалывались бронзовые истуканы, как труха рассыпалось прогнившее государство. Теперь всесильный шеф КГБ в потертом пиджачке и стоптанных туфлях сидел перед Хлопьяновым, близоруко щурился и беспомощно улыбался, и сквозь рыжеватую пергаментную кожу рук проглядывали хрупкие стариковские кости.

Советник был искренне рад визитеру. Оглядывал его со всех сторон, словно примерялся к нему, снимал с него невидимые размеры, помещал в воображаемый контур. Его чуткие пальцы перебирали воздух, словно он трогал нити ткацкого стана, окружал ими гостя, и тот был уловлен, заткан, помещен среди разноцветных ворсинок. Советник, как ткач и вязальщик, набрасывал петли на его руки, сутулые плечи, морщинистую шею. Так ткут восточный ковер, и среди разноцветных орнаментов, причудливых геометрических линий возникает плоское упрощенное изображение человека, цветка, верблюда.

– У нас сегодня состоится намеченное мероприятие? – спросил гость, виновато улыбаясь, на случай, если он что-то перепутал и пришел в неурочный час.

– Непременно! – успокоил его Советник. – Мы с коллегой, – он кивнул на Хлопьянова, – как раз рассуждали на близкую нам всем тему. История и метаистория! Игра и метаигра!

Хлопьянов слушал Советника, рассматривал пожилого гостя, и внезапно представил старую, покрытую окалиной танковую гильзу с пробитым, окисленным капсюлем. Из тех, что грудами валялись позади саманной постройки, куда заезжал пыльный танк и, выставив пушку над изглоданным дувалом, стрелял по «зеленке», по остаткам кишлаков, красным виноградникам и садам, покрывая долину далекими курчавыми взрывами, а землю заставы – яркими латунными гильзами. Через неделю гильзы темнели, их давили сапогами и гусеницами, они, израсходовав взрывную мощь, выбросив тяжелое острие снаряда, валялись ненужным хламом. Такое ощущение израсходованное™ и опустошенности производил пожилой человек, из которого вырвалась и исчезла энергия власти.

Хлопьянов помнил тот душный август, заставший его в Карабахе. С батальоном спецназа он стоял в мусульманской Шуше в здании санатория на виноградной горе. Волнисто, туманно синели горы Кавказа, кружили серпантины дорог, слюдянистые струйки ручьев. Солдаты, усталые, гремели оружием, выпрыгивали из грузовиков, после ночного рейда в долину, где армяне

в азербайджанском селе взорвали мечеть и убили муллу. Он ополаскивал свое пыльное, небритое лицо, был готов улечься на койку и забыться тяжелым сном, в котором все так же будет клубиться дорога, светить воспаленно фары, кричать от горя старуха, и солдаты цепочкой будут пробегать вдоль развалин. Он гремел рукомойником, когда вбежал возбужденный комбат с криком: «Наша взяла!.. В Москве свалили Горбатого!» Офицеры крутили транзистор, жадно внимали долгожданным словам воззвания. Ликовали, шмякали кулаками в ладони, а потом вышли в сад и били в небо сквозь ветки яблонь, пускали веером автоматные очереди, славя лидеров армии и КГБ. На третий день, когда все было кончено, все оползло, как гнилая штукатурка, и в транзисторе визжало и свистело неистовое сонмище, доклевывало московских неудачников, офицеры напились, сидя под голыми электрическими лампами. Матерились, хрипели, проклинали бездарных вождей. Пьяный, с искусанными губами, он вышел в ночь, где звенели цикады, туманились высокие звезды. В тоске, не находя исхода своей беде, стрелял из пистолета в эти звезды, в черные горы, в пустое, лишенное смысла пространство, разрывая его красными вспышками. Потом его рвало у корней старой яблони, и он плакал в ночи.

Теперь он вспоминал об этом, глядя на хрупкого, улыбающегося старичка, присевшего на краешек стула.

– Мы как раз обсуждали соотношение игры и истории в процедуре разрушения СССР, – продолжал Советник, оглядывая гостя, как оглядывают долгожданную добычу, которая сама подошла к охотнику. – В период паритета произошла конвергенция советской и американской разведок. В прошлый раз мы остановились на том, что была возможность выйти в постпаритетный мир гармонично и без потрясений, разделив сферы влияния в мире. Но ваше ведомство, как, впрочем, и партия, оперировало тривиальными категориями истории. А соперник уже освоил технологии игры, формы метаистории. И вас переиграли. Я вас спрашивал и не дождался ответа: где были ваши аналитики и концептуалисты? Что делала школы рефлексивного управления? Ведь у партии не было «политической разведки», плана на случай поражения и отступления. Но если честно сказать, меня больше всего интересует «Германский проект». Как объединяли Германию? По каким каналам партийные деньги ушли в германские банки? Как прогерманские силы в ГРУ переиграли проамериканские в КГБ? Как деньги Гитлера слились с деньгами Сталина? Нам нужно уже теперь найти ответы на эти вопросы, иначе Германия возьмет реванш за поражение во Второй мировой войне, и Европу снова zalьет черная сперма фашизма!

Хлопьянов догадывался о сути их беседы, которая была продолжением сложных, не сегодня возникших отношений. Но зрачки его были направлены на хрустальную призму, в которой, как цветок, волновалась разноцветная радуга. И хотелось обратно туда, в стеклянную бездну, в хрустальную, пронизанную лучами Вселенную.

В комнату, где они сидели, заглянул новый гость. С залысынами, стриженный бобриком, с живым энергичным лицом. Он радостно, хотя и просительно, улыбнулся им всем. Властно и бодро, но и с некоторой осторожной неуверенностью пожал всем руки.

– Не помешал?... А я прохожу, смотрю, народ собирается! Значит, думаю, мероприятие состоится! – повторил он слова старичка.

– Наши мероприятия никогда не откладываются! – пошутил Советник, приглашая гостя войти. – Прошу вас, знакомьтесь!

Пожимая вошедшему сухую ладонь, Хлопьянов узнал другого знаменитого неудачника, тюремного узника, мученика последних дней государства. Это был лидер партии, в тот грозный август поддержавший заговорщиков. Вместе с ними прошел тюрьму и судилище. Партия, которую он хотел уберечь, распалась на горстки растерянных, потерявших власть активистов. Былые соратники перешли к победителям, расселись вокруг президента, захватили заводы и

банки. А он, отсеченный от власти, беспомощно мучился, и эта мука ртутными точками блесла в его беспокойных глазах.

– Вы очень кстати зашли, – радовался Советник, – мы как раз обсуждали конфликт парламента и президента, схватку Хасбулатова с Ельциным. Этот конфликт, как бы он ни закончился, является последней схваткой остатков советского уклада с новым буржуазным укладом. После его завершения развернется сражение за собственность, и в ходе сражения, в силу ряда негативных тенденций, в стране может воцариться фашизм. Мы должны сделать все, чтобы вожди, подобные Баркашову, не сжигали на Красной площади книги Пушкина, Хемингуэя и Горького. Я хотел на заседании нашего клуба предложить вам основы «Левого проекта», над которым я трудился последнее время.

Советник философствовал, гипнотизировал присутствующих шелестом пальцев, улыбкой мягких непрерывно говорящих губ, вздувшимися на черепе буграми и костными швами. А Хлопьянов смотрел на призму, выточенную из хрустального льда, и знал, что он вовлечен в таинственный волшебный обман, и здесь не найти ответов на роковые вопросы.

За дверями раздался звон колокольчика.

– Нас приглашают в зал, – сказал Советник, подымая со стульев гостей. Когда выходили из комнаты, наклонился к Хлопьянову: – Я понял вашу проблему. На следующей неделе жду вас в Центре. Постараюсь найти вам применение.

Хлопьянов оглянулся, прощаясь с радугой. Но призма была пустой, водянистой-прозрачной, как тусклая сосулька, словно Советник выхватил из призмы и спрятал пучок лучей.

По переходам и коридорам они попали в небольшой зал, напоминавший театр. Кресла рядами, сцена и занавес. Зал был заполнен наполовину. Люди сидели группами, видимо так же, как и пришли. Между ними оставались пустые кресла. Советник исчез, а старичок и печальный партиец сразу пошли сквозь ряды и уселись вдвоем.

Сидевшие в зале были незнакомы Хлопьянову. Несколько пожилых военных в форме. Моложавые, похожие на дипломатов мужчины в серых костюмах и белых рубашках. Молодежь, студенты в джинсах и майках. Какая-то престарелая дама в буклях, похожая на графиню из «Пиковой дамы». Иностранцы, говорившие не то на немецком, не то на норвежском. Журналисты с блокнотами и фотокамерами. Стоял штатив, и на нем фотокамера с красным глазком.

Зал был задрапирован в черное, – черные стены, черные кресла и занавес. Люди, освещенные яркими прожекторами, казались помещенными в аквариум.

Хлопьянов обратил внимание на пожилого полковника в поношенном мундире с тусклыми золотыми погонами. Он был седовлас, на усталом лице виднелся коричневый шрам. Всем своим видом он выказывал непонимание – куда и зачем он попал. Беспокойно, раздраженно, насмешливо поглядывал на двух именитых заговорщиков. И блеклые искусанные губы его что-то шептали.

Свет начал медленно угасать, люди в креслах таяли, словно их рассасывала черная влага. Зазвучала негромкая электронная музыка, сложные певучие синусоиды, дребезжащие всплески, металлические удары и скрежеты. Эта музыка казалась звуковым воплощением графиков, которые Хлопьянов видел на экране компьютеров, когда шел к Советнику. Она передавала увеличение напряженности, борьбу общественных сил, столкновение движений и партий. В ней чудились демонстрация у Останкинской телебашни, крестный ход у бассейна «Москва», стрельбище на песчаном карьере. Хлопьянову мерещились лица тех, с кем познакомился на тайных встречах и сходках. Тут был решительный Генсек с огромным лбом, и Красный Генерал с сердитыми усами, и Трибун, поднявший вверх стиснутый кулачок, и Вождь, прыгающий через костер. Здесь был и он сам, Хлопьянов, ищущий и ненаходящий, возносимый, как песчинка, на волне синусоиды. Музыка была осциллограммой страхов, подозрений, надежд, мучительной любви и угрюмой ненависти. Хлопьянов не видел, но чувствовал, как страдает

сидящий рядом полковник, как сжимаются во тьме его кулаки и судороги пробегают по израненному лицу.

Музыка продолжала играть, резче, тоскливей, мучительней. В темноте замерцали слабые разноцветные вспышки. Как в ночной «зеленке», когда в глинобитных развалинах и иссохших арыках работали пулеметы душманов. И по ним с окрестных застав, посылая красные трассеры, белые и золотые пунктиры, откликались боевые машины пехоты, зарытые в землю танки. Прилетали и повисали в ночи оранжевые осветительные бомбы, качались на волнистых дымах, как огромные масляные лампы, озаряя желтым мертвенным светом серую равнину, с лунными кратерами, воронками взрывов, ошметками кишлаков и садов, по которым день за днем, методично и безнадежно работала авиация и артиллерия. И огромное, еще недавно пустое пространство ночи прочерчивалось прямыми и дугами, пунктирами и плазменными вспышками, словно по «зеленке» катилось огромное искрящее колесо, чертило землю своим железным ободом.

Так воспринимал Хлопьянов светомузыку зала. Лазеры под разными углами рассекали зал, вонзали в лица и груди сидящих отточенные моментальные иглы. Когда его зрачок встречался с лучом, и рубиновый, белый или бирюзовый укол пронзал глазницу, он каждый раз испытывал болезненное наслаждение, словно световая игла впрыскивала в него каплю наркотика, которая проникала в мозг, вызывала головокружение и галлюцинацию.

Полковник, окруженный иглами, как пулеметными трассами, то пропадал, то вырывался из тьмы. Изжаленный лучами, шевелил погонами, орденскими колодками, и его лицо было в красных и голубых ожогах, среди которых мерцал и пульсировал рубец, словно шов электро-сварки.

Лазеры погасли, музыка зазвучала торжественно, и красные прожектора осветили сцену, создав на ней подобие волнистого озера или колеблемого алого флага. На этих алых волнах вдруг появился серп и молот, и на сцену выскочил танцор, голый по пояс, в белом трико, мускулистый, с рельефной грудью и бицепсами. Стал танцевать, выделявая классические па, вздевая руки, под музыку, напоминавшую революционные гимны, песни войны, мелодии Пахмутовой, связанные с освоением целины и Сибири.

Прожектор изменил окраску, и вместо советского возник трехцветный российский демократический флаг. Музыка обрела назойливые визгливые ритмы, напоминавшие «семь-сорок» или «халилу». Танцор сменил классические па на шантанные телодвижения, вилял бедрами, крутил тазом, изображая томление гомосексуальной любви, вульгарно и отвратительно раздвигая колени.

Трехцветный демократический флаг исчез, и вместо него на сцене возникло красное полотнище с белым кругом в центре, и в этом круге – черная, живая и страшная, как выброшенный на берег краб, зашевелилась свастика. Танцор напряг торс, набыл шею, выставил вперед подбородок, и его танец напоминал строевой шаг, он выбрасывал вперед руку, и музыка напоминала немецкие походные марши, свастика хватала танцора черными клешнями, оставляя на его голом теле зазубрены и рубцы.

Музыка смолкла, танцор исчез. Зажегся яркий свет. На сцену вышел Советник, улыбающийся, бодрый, слегка раскланиваясь, нарядно блестя стеклами очков.

– Друзья, все что вы сейчас видели и слышали, – не более чем дивертисмент. Заставка. Если угодно, буквица, пред тем как зазвучать основному тексту. Этот текст мне будет позволено озаглавить «Восстановление Красной Империи как неизбежной исторической формы евразийского континента».

Он шагнул к маленькой кафедре, удовлетворенный собой, уверенный в том, что зал, облученный многоцветными вспышками, закодированный музыкальными и пластическими символами, принадлежит ему. Искусный маг, умелый нейрохирург, он произвел над пациен-

тами еще одну невидимую операцию, приблизив их интеллект к пониманию высших, известных ему откровений.

Он был готов говорить. Но сидящий впереди Хлопьянова седовласый полковник стал медленно подниматься. Кулаки его были сжаты в тугие красно-синие комья костей и жил. Лицо перекашивалось, подергивалось. Шрам кровоточил. Он протягивал кулаки в сторону двух сидящих поодаль заговорщиков, старичка и печального партийца, и хрипло выкрикивал:

– Предатели!.. Все имели, – армию, партию, КГБ!.. Страну отдали!.. Без единого выстрела!.. Нам теперь кровавыми ногтями обратно ее выцарапывать!.. Нас убивать будут!.. С нас шкуру с живых снимать будут!.. Возьмите пистолеты и застрелитесь!.. Я дам вам мой пистолет!..

Он кричал, хрипел. Погоны его выгибались золотыми языками. Он оседал между рядов, падал под кресла, бился, и Хлопьянов видел, как течет у него изо рта белая пена.

Все кинулись к нему, обступили. Был гвалт, неразбериха. Советник метался по сцене, кому-то кричал: «Врача!.. Неотложку!..»

Хлопьянов вышел из зала, спустился по переходам и лестницам и оказался на улице.

Летний московский ветер, пахнувший вялой листвой, бензином, дуновениями женских духов, охватил его. Он приходил в себя, шагая по тротуарам, мимо глазированных, с водянистыми фарами автомобилей. И опять ему казалось, – к его рубашке, к туфлям прилипла незримая паутина. Тонкая, пропитанная светом трубочка. И кто-то сквозь волосок световода неотрывно за ним наблюдает.

Глава тринадцатая

Две недели он, как паломник, посещал «святые места» оппозиции. Входил в «политические монастыри», в которых укрывались суровые настоятели, окруженные малочисленной братией. Каждый со своим уставом, иконостасом, обрядом. Он искренне желал приобщиться, был готов выполнять самую черную работу послушника. Но его не принимали. Его служение было не нужно. Его старания и ревность не находили себе применения. Грозная весть, с которой он являлся, не находила отклика. Монастырь, отгороженный от реального мира высокой стеной, жил своей замкнутой жизнью. Принесенная весть тонула в колокольных звонах, словословиях, в пении монастырского хора, и Хлопьянов, потолкавшись перед воротами, не найдя понимания, поворачивался и двигался к соседней обители.

Это поражало его. Беда надвигалась, становилась все очевидней. Но люди, которым она грозила, были глухи и слепы, бессильны остановить беду. Ему начинало казаться, что они, мнящие себя оппозицией, ни на что не способны. Не являются вождями народа. Не служат спасению Родины.

Он сидел на скамейке в сквере и читал газету. Одну из тех, гнусных, бесстыдных, заполонивших киоски, подземные переходы, вестибюли метро. Журналисты этих газет, опытные и одаренные мерзавцы, подобно черным муравьям, источили в труху все живое, заповедное, чудное, чем держалась и спасалась душа.

Он купил газету, уверяя себя, что хочет лучше изучить врага, но читал ее, причиняя себе осознанное страдание. Прочитал веселую заметку об одиноком старике, упавшем из окна на мостовую. Заметка называлась: «Выпал из гнезда». Просмотрел скабрёзные объявления, предлагавшие мужчинам услуги интеллигентных девушек, с телефонами и расценками. Объявления давались под рубрикой: «Гладим по шерстке». В отделе искусство была напечатана информация о художнике-концептуалисте, который, придя в музей, стал испражняться перед картиной Веласкеса. Заметка называлась: «Большая нужда». В политическом отделе рассказывалось о продаже русского оружия прибалтийским республикам, исследовалась возможность применения этого оружия против русского населения в случае волнений. Статья называлась: «Рус, сдавайсь!» Тут же в отделе светской хроники давалась фотография молодого министра-еврея, надевавшего жене на палец кольцо с бриллиантом.

Даваясь этой мерзостью и все-таки читая ее, испытывая болезненное наслаждение от той муки, которую себе причинял, он вдруг натолкнулся на сухое сообщение, в котором говорилось о назначении на пост вице-премьера знакомого человека. И не просто знакомого, а того, с кем вместе работал, воевал, подвергался опасностям, сносил непомерные тяготы, сначала в Афганистане, а потом в Карабахе. «Вельможа», – так мысленно нарек его Хлопьянов, вспоминая огромное тучное тело, медвежью неповоротливость, маленькие заплывшие глазки и скрытую мощь человека, который управлял политикой и военным процессом в Кабуле, а потом в Баку, в кровавом карабахском конфликте.

Сообщение поразило его. Вельможа был партиец, государственник. Был сокрушен вместе с государством, исчез и пропал под его развалинами. На годы выпал из вида. Казалось, рассосался и растворился в едких кислотах и ядах, которыми поливали страну. Но вдруг возник, и не в облике неудачника, не подследственным, не героем политического скандала, а влиятельным могучим чиновником, правительственной властной фигурой.

Хлопьянов отбросил газету, рассеянно смотрел, как в сквере играют дети и моложавые бабушки сидят рядком, как куры на насесте. Думал о Вельможе.

Как шли бронеколонной от Кандагара в Шинданд, сквозь засады и фугасы душманов, и машины, развернув стволы в обе стороны к пыльным откосам, работали из всех пулеметов, оставляя на склонах рваные росчерки. А потом с Вельможей на вертолете неслись над гон-

чарно-красным Гератом, в косом противоракетном маневре. Прижатый в вираже к шпангоутам, он увидел близко за блистером чешуйчатый столб минарета, клетчатый глиняный город, колонну танков, пылившую среди желтой лепнины, и бледную вспышку пулемета, отработавшего по вертолету.

Помнил, как с Вельможей сидели в шатре белуджей, на разноцветной кошке. Пили водку, хватали из мисок обжигающую жирную баранину. Вождь белуджей скалил в улыбке желтые зубы, дарил кривой, покрытый вязью кинжал, а за отброшенным пологом катили бэтээры с пехотой, пылили самоходные гаубицы, и наутро удар по перевалу, скоротечный бой на вершине, и он с Вельможей, белые от пыли, въезжают в Хост.

Помнил Сумгаит, липкие мокрые улицы, патрули на перекрестках, разгромленные жилища армян. Они с Вельможей стоят во дворе у детской песочницы, у раскрашенных качелей и лесенок, и на стеганом красном одеяле, – убитая молодая армянка. Отрезанные груди, исколотое иссеченное тело, и жутко блестит вбитый в промежности осколок бутылки.

Помнил январь в Баку, ночные ревушие толпы. На танке он прорывался к центру, слыша, как хрустнула под гусеницами смятая легковушка, как стукнул о борт и сломался фонарный столб. В черном небе – пулеметные трассы, стенание и рев толпы. В Доме правительства Вельможа, – автомат на столе, красные больные глаза, – схватил телефонную трубку, рычит: «А вы там, в Москве, нашей кровью хотели упиться? Она и на вас прольется!»

Летом, после ранения, когда его вертолет, сбитый армянами, упал на хлебное поле, и он отползал от горящей машины, ожидая взрыва и смерти, – он приехал в Баку. Пришел к Вельможе. Тот обнял его у порога, отвез в гостиницу, на берег Каспия, где цвели олеандры и розы, благоухали маслянистые кипарисы. Они сидели вдвоем на приморской веранде, закутавшись в белые простыни, как римские патриции перед концом империи. Пили молча вино, шли в соленые волны. Он уплывал от берега и оглядываясь, видел далеко среди соляного блеска стоящего Вельможу, похожего на недвижный памятник. Ему хотелось запомнить и это зеленое море, и отекающие в вазе смуглые персики, и смолистый аромат кипарисов, ибо, он знал, это никогда не вернется. Через месяц случился московский путч, и Вельможа исчез.

Теперь, прочитав в газете о его назначении, Хлопьянов решил немедленно с ним повидаться.

Он нашел в своей книжке телефон московской квартиры, где иногда останавливался Вельможа. Позвонил из автомата. Женский сочный голос ответил, что того нет дома, он на даче. Хлопьянов попросил телефон дачи, и женщина, не задумываясь, не спрашивая, кто он такой, дала телефон. Хлопьянов, не веря удаче, набрал номер и сразу услышал хрипловатый, словно простуженный голос Вельможи.

– Это Хлопьянов... Узнал о вашем назначении... Хотел повидаться... Хотел посоветоваться...

– Приезжай! – тут же, не раздумывая, сказал Вельможа. Дал адрес своей подмосковной дачи.

Хлопьянов на такси по узкому Успенскому шоссе, пропуская стремительные правительственные лимузины, добрался до указанной дачи. Увидел Вельможу среди золотистых сосен. Огромный, в рубаше апаш, тот шел к нему по усыпанной шишками тропке. Обнялись и дважды, по-афгански, прикоснулись щека к щеке.

– Рад тебе, – сипло сказал Вельможа, обращаясь к Хлопьянову на «ты». Тот принимал эту форму старшинства, субординационного превосходства, не исчезнувшего за эти несколько лет. – Как живешь-можешь? – он приобнял Хлопьянова, положил ему на плечо тяжеленную руку, нежно и грубовато подталкивал к деревянной веранде, где стояли плетеные стулья, и в открытые двери виднелось сумрачное убранство дачи, несколько домочадцев ходили вокруг стола, расставляли тарелки и рюмки. – Как сложилась судьба?

Они уселись в удобные упругие кресла. Чувствуя сладковатый ветерок соснового бора, где было пестро от розовых пятен солнца, падающих темных шишек, цокающих красных белок, Хлопьянов стал рассказывать про свои злоключения, испытывая к Вельможе доверие. Ожидал поддержки и помощи, полагаясь на его несокрушимую надежность и мощь.

– Не мог я быть больше в армии!.. Чья армия? Кого защищает?... Воров и мерзавцев!.. Дивизия из Гянджи выходила в Союз, грузилась на платформы. Азербайджанцы улыбаются, честь отдают. А ночью, смотрю, десять танков, без огней, из парковой зоны колонной в горы! Я к особисту, – что, куда уходят? «Молчи, говорит. За эти коробки уже миллионы заплачены!»... Или у Лачина заставы держим, армянских боевиков не пускаем. Пришли разведданные, – армяне мост хотят подорвать. Мы – взвод спецназа в засаду. Слышим, ночью идут, камушки осыпают. В ночные прицелы видно. Приказываю: «Огонь!» Трех уложили, четверо сдались. Все русские. Наемники, из Седьмой гвардейской! Шли на диверсию, и мы же, русские, своих положили!.. Армянские самолеты бомбят позиции. Один штурмовик попал под огонь «ЗРК», азербайджанцы его свалили. Летчик катапультировался, попал в плен. Русский наемник, капитан. Его азербайджанцы затолкали в резиновый скат от КамАЗа, подожгли, и он, раненый, там сгорел!.. Разве можно было дальше служить?

Он задохнулся от страдания. Хриплым кашлем вытолкнул из себя едкий ком боли. Оглянулся на золотистые сосны. Темная шишка с тихим стуком упала на коричневую, усыпанную иглами тропку.

Вельможа насупил косматые брови, слушал, и казалось, страдания Хлопьянова не трогали его, не проникали в каменное огромное тело.

– Здесь, в Москве, ищу, куда себя деть!.. Здоровье есть. Голова в порядке. Стрелять не разучился. Связи в разведке остались... Хожу к оппозиционным вождям, предлагаю себя. «Берите!.. Службу безопасности построю! Боевую фракцию создам! Конспиративную сеть заложу!»... Нет, не встраиваюсь. У них на уме другое... Митинги! Шумиха в парламенте! Покрасоваться! Статьейка в газете! Мелькнуть на экране!.. «Но ведь вас, говорю, уничтожат! В вас уже целят! Тепленькими в постельках возьмут!»... Не слышат...» Мы, говорят, политики новой волны!»

Хлопьянов зло засмеялся. Почувствовал, как в смехе рот его раздвинулся в длинном оскале. Усилием воли остановил этот смех. Оглянулся на близкие сосны, где по желтому стволу бежала вверх белка, била хвостом и цокала.

Вельможа угрюмо молчал, и было неясно, сострадает ли он Хлопьянову, или осуждает его.

– Если я никому не нужен, буду действовать сам!.. Соберу пяток сослуживцев, которые еще не сломались!.. Выйдем на маршрут, на Рублевку!.. Замочим, когда он в Кремль из Барвихи!.. Кумулятивную гранату поймает!.. Кто-то должен за Родину заступиться!..

Он смотрел на свои сжатые кулаки с побелевшими костяшками, словно видел в них лакированное цевье снайперской винтовки. Ее синий, в радужной пленке ствол скользил по проспекту, где несли длинный, черный, как хищная оса, лимузин, и в этот налетающий вихрь, в зеркальное лобовое стекло летела его точная пуля.

– Ненавижу! – сказал Хлопьянов. – Перед смертью его замочу!

Вельможа не перебивая слушал, окаменев. Сквозь каменный лоб и мохнатые, словно северный мох на граните, смотрели на Хлопьянова маленькие, как синяя вода в лунке, изучающие глаза. Вздыхнул, приподнял на животе и груди тяжелые пласты, опустил на плечо Хлопьянова огромную лапу. И она неожиданно оказалась мягкой, теплой, нежной.

– Давай-ка прогуляемся, – сказал Вельможа, оглядывая потолки и стены веранды, где среди темных суков и трещин могли притаиться невидимые микрофоны. – Пойдем по тропинке пройдемся.

Они шли по коричневой дорожке, усыпанной стеклянными иглами, среди прямых золотистых стволов. В высоких вершинах тихо скользили лучи, мелькали белки и птицы, падала темная шишка.

– Не надо никого мочить и тем более самому погибать, – говорил Вельможа, ступая толстыми ногами по тропке. – Нам не погибнуть, выстоять надо! Каждая светлая голова и крепкая рука нам пригодятся. Не завтра, а уже сегодня.

Хлопьянов настороженно внимал. Вельможа всегда говорил о насущном, реальном, связанном с интересами многих людей, среди которых не было пустомель, бездельников, а только те, кто умел, знал, страстно желал.

– Не надо никого мочить, – продолжал Вельможа. – Они сами уйдут. Уже уходят, а на их место приходят другие. Мы приходим!

Вельможа шагал по тропке, и казалось, тропка пружинит, прогибается под его тяжестью. Хлопьянов старался угадать его мысль, прочитать его замысел, разглядеть в этом замысле свою роль и задачу.

– Я действую осторожно, невидимо. Чтобы не спугнуть! А то они всем своим картавым граем закаркают и заклюют. Пусть себе долбят свою сладкую кость! А тем временем осторожно, за их спиной свое дело делаю. Там нашего человека приведу, на важное место его посажу. Там другого. Не на первые роли, – на третьи! Он какой-нибудь документик подправит, какую-нибудь бумагу составит. Сначала маленькую, потом побольше. Глядишь, из незаметного клерка политиком стал. Отдел возглавил, в префектуру вошел. Они ведь, эти каркающие, дело делать не умеют. Им бы вертеться перед телекамерой, на разных презентациях, в разные лакомые поездки ездить! А как заводом управлять или электростанцию построить, как организовать мероприятие, как заставить людей работать, – это они не умеют. Это они нам, черной кости, поручают. И спасибо! И ладно! Мы черновой работы не боимся. Мы всю жизнь в черновой работе!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.